

«ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

Публикация Л. А. Евстигнеевой

Работа Слепцова над повестью, впоследствии романом, «Хороший человек» продолжалась много лет. Окончания ее с нетерпением ожидали в демократических литературных кругах, в первую очередь в кругах «Отечественных записок», так как возлагали на это произведение большие надежды. Салтыков-Щедрин сообщал Некрасову 9 июня 1869 г.: «Слепцов уверяет, что пишет свой роман, но кончит ли к осени — поручиться нельзя. Впрочем, хоть бы к январю кончил...»¹. Год спустя Некрасов просил Анненкова похлопотать в Литературном фонде, чтобы Слепцову выдали денежное пособие, крайне ему необходимое. «Я считаю лишним говорить о том, — писал он, — что Слепцову стоит помочь серьезно. Кроме пользы для его здоровья, Общество сделает пользу литературе, ибо даст Слепцову возможность кончить на свободе и спокойно большой роман, которым он давно занят и с которым до сей поры не мог справиться, отвлекаемый срочными работами ради насущного хлеба»².

По первоначальным планам роман должен был появиться в 1868 г., в первых номерах реформированных «Отечественных записок». Предполагалось, что это будет программный роман, который отразит взгляды бывшей редакции «Современника» на положение, создавшееся в революционно-демократическом движении к исходу 1860-х годов.

Слепцов начал писать свой роман в 1867 г., то есть вскоре после каракозовского выстрела, когда русская общественная мысль, не успев оправиться после реакционного натиска 1862—1863 гг., оказалась под гнетом репрессивного «муравьевского» режима. Наряду с политической реакцией давала себя знать и реакция общественная. В эти годы русская революционная демократия переживала серьезный идейный кризис. Примерно до 1863 г. оставались надежды на всеобщее крестьянское восстание, в соответствии с чем велась подготовка к насильственному свержению самодержавия. Когда же на смену революционной ситуации пришла полоса глубокой реакции, положение резко изменилось. Должны были стать другими и методы борьбы. Вместо ставки на скорый и всеобщий революционный взрыв, надежды на который питали революционные демократы начала 1860-х годов, приходилось менять тактику и ориентироваться на длительную работу в массах. Не «звать Русь к топору», но медленно подготавливать ее к активным политическим выступлениям — таков был основной вывод.

В конспиративном письме к Герцену и Огареву из Алексеевского равелина Н. А. Серно-Соловьевич подводил итог: «Почва болотистее, чем думалось. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. Что же делать? Слабому прийти в отчаяние, сильному сказать: счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже — и приняться вбивать сваи»³. Таким «вбиванием свай» и должна была стать, по мысли революционных демократов, настойчивая каждодневная агитация в народных массах.

В литературе начали появляться произведения, изображающие демократов, которые едут в глушь, в деревни, в провинциальные города, чтобы на месте «готовить почву» для продолжения борьбы, укреплять «трясину» «сваями». Их можно назвать первыми ласточками революционного народничества семидесятых годов.

Так, по заданию своего подпольного кружка едет в город Срывный Веригин, герой незаконченной щедринской повести «Тихое пристанище», основная работа над которой отнесится к 1865 г. Руководитель «центра» Крестников объясняет ему, что в деревню ехать необходимо, ибо «настоящее дело не здесь, а там, в глубине, и что там необходимо иметь людей»⁴. Щедрин развивает мысль, что единственно действенным способом сохранения революционной перспективы должна быть «чернорабочая деятельность» в массах. Поиски новых путей борьбы, новой тактики и новых способов общения с народом должен был отразить и задуманный Слепцовым роман «Хороший человек».

Уже само название романа было многозначительным. В демократической литературе 1860-х годов был создан установившийся круг постоянных эзоповских терминов, при помощи которых зашифровывался подлинный смысл произведений. Так, словом «дело» часто обозначали революционное дело, «серьезное время» значило время, чреватое возможностью революционного выступления масс, а «общим благом» называли социалистический справедливый строй будущего. Таким же тайным эзоповским термином было и выражение «хороший человек»: хорошими людьми называли борцов за дело освобождения народа. Еще в статье «Скромные упражнения», опубликованной в «Современнике» 1865 г. (№ 9), Слепцов доказывал, что человек может быть «хорошим» только если он служит «хорошему делу». Веригин в «Тихом пристанище» Щедрина также называет членов своего тайного общества «хорошими людьми». Да и вообще эпитет «хороший» приобрел в литературе шестидесятых годов специфически демократическую окраску. Слепцов так определял понятие «хорошее место»: это место, где «можно жить и работать, и чувствовать себя самостоятельным». Поэтому, озаглавив роман словами «Хороший человек», Слепцов ко многому себя обязывал. Он должен был создать роман о передовом общественно-политическом деятеле, показать, каким должно быть новое «дело» демократов в изменившейся исторической обстановке.

Однако работа над романом у Слепцова явно не клелась. Прошел не только 1868 г., но и 1869 г., а редакция «Отечественных записок» тщетно ожидала от писателя рукописи его нового произведения. 6 августа 1870 г. Слепцов сообщил Некрасову в Карабику: «Теперь у меня готова первая часть большой, давным-давно обещанной повести „Хороший человек“. Я передумывал и переделывал ее несколько раз и, наконец, остановился на одном плане, который и привожу в исполнение. Готовых совершенно у меня теперь листов пять. Что мне с ними делать?»⁵.

Через полгода в февральской книжке «Отечественных записок» появилось долгожданное начало первой части романа (не повести) — как определял теперь Слепцов жанр своего произведения — пять глав. Они составляли не более двух печатных листов, то есть менее половины того, о чем Слепцов писал Некрасову в августе 1870 г. («Готовых совершенно у меня теперь листов пять»). Трудно сказать, что именно входило в состав трех остальных листов, и почему они не появились в печати в февральской книжке, но можно предположить, что публикуемый нами текст занимал значительную долю приготовленного тогда к печати материала.

Дальнейшая работа над романом пошла еще хуже. Сам Слепцов был ею неудовлетворен. Так, в ответ на просьбу Некрасова прислать продолжение романа для мартовского номера, Слепцов писал: «Чем ближе к первому числу, тем больше я тороплюсь, переделываю написанное и тем сильнее возрастает недовольство своей работою. Я вам рассказывал, что у меня бывают припадки отчаяния и омерзения к тому, что я пишу. Вероятно, это скоро пройдет, но тем не менее в настоящую минуту работа моя никуда не годится и я сам никуда не погужусь. Пока еще есть время, замените чем-нибудь страницы, оставленные для меня в „Отечественных записках“, тем более, что, во всяком случае, окончания 1-й части романа для мартовской книжки было бы мало. Зато в апрельской будет много»⁶.

Несмотря на это, продолжение романа не появилось ни в апрельской, ни в последующих книжках «Отечественных записок». Видимо, Слепцов отказался от мысли продолжать свое произведение. В посмертном издании его сочинений «Хороший человек» был напечатан с подзаголовком: «Пять глав из неоконченного романа». На последней же странице значилось: «Конец». Редакция «Отечественных записок» в некрологе Слепцова высказала сожаление об этом: «Что помешало ему довершить этот труд?



СЛЕПЦОВ

Фотография, 1870-е гг.

Литературный музей, Москва

Начавшийся ли недуг или что-нибудь другое?»⁷. Современникам Слепцова судьба романа «Хороший человек» осталась неясной.

Появление в печати первых глав романа прошло почти незамеченным. В очередных журнальных обзорах кое-где мелькали беглые отзывы и упоминания о новом произведении Слепцова. Авторы их, как правило, касались мелочей, но не обсуждали характер главного героя и замысел писателя. Так, автор рецензии в «С.-Петербургских ведомостях» направил острей своей «критики» на то, что Слепцов допустил в романе топографическую ошибку. Он написал, что Теребенев на пристани в Гамбурге жадно вглядывался в морскую даль и рассматривал пароходы на рейде, тогда как Гамбург расположен на таком же расстоянии от моря, как и Петербург, и увидеть с набережной пароходы было невозможно⁸. В этом отзыве не было даже попытки дать серьезный анализ произведения. Не было ее и в отзыве журнала «Заря». Рецензент «Зари» сделал парадоксальный вывод о том, что герой Слепцова — человек психически ненормальный, напоминающий одного из персонажей Достоевского. «Для придания своему старообразному герою некоторой свежести и оригинальности, — писал этот критик, — г. Слепцов не придумал ничего лучшего, как совершенно его обесмыслить. Герой г. Слепцова не странствует, даже не шатается по Европе, а его как-то носит по ней. Он не волен ни в одном своем движении или поступке, они, даже в его собственных глазах, не имеют никакого логического объяснения». В самом романе он не нашел ничего, кроме «скуки с примесью некоторого недоразумения»⁹.

Критики сходились на том, что главный герой романа — человек будто бы бессодержательный и ни к чему не пригодный, из «числа ничего не делающих и вечно отыскивающих какое-то дело»¹⁰. Только в обзоре «Иллюстрированной газеты» раздался сочувственный и понимающий голос. Отведя роману «Хороший человек» первое место из всех вышедших в свет произведений, критик газеты, по всей вероятности сам редактор ее, В. Р. Зотов, писал: «Роман этот обещан был редакцией „Отечественных записок“ уже давно, но по каким-то причинам до сих пор не появлялся в печати. Да и теперь редакция печатает его точно нехотя, потому что, вероятно, дорожа своим сокровищем, отпустила уже слишком гомеопатическую его дозу — всего пять небольших глав». И хотя «Иллюстрированная газета» признала, что, судя по этим главам, роман — вещь замечательная, но и она не смогла разгадать замысла «Хорошего человека». «Герой романа Теребенев, — писала газета, — возвращается в Россию после бесцельного скитания за границей, где он не празднует, но бесплодно растратил свою молодость»¹¹.

Критики не находили в новом произведении Слепцова обычных достоинств его дарования: «спокойного юмора, наблюдательности, сжатости и тщательной обработки» и поэтому заговорили об упадке его таланта. «Не будь „Хороший человек“ подписан именем г. Слепцова, — заключал свой обзор критик «Зари», — в нем трудно было бы признать автора известных мелких рассказов и романа „Трудное время“». Однако подлинные причины неудачи, постигшей работу Слепцова над этим произведением, остались неизвестны современникам.

Уже в советское время К. И. Чуковский впервые указал на одну из этих причин — на роль цензуры в судьбе романа «Хороший человек»¹². Справедливость этого указания подтверждается донесением цензора Лебедева о февральской книжке «Отечественных записок», в которой среди других материалов, обративших на себя внимание цензуры «вследствие их предосудительности», разбирается первая часть слепцовского романа. «По напечатанию I части, весьма незначительного объема, — пишет Лебедев, — нельзя еще сделать верного заключения о направлении всего романа, в этой части помещена только биография и характеристика героя романа Теребенева. Теребенев представлен автором молодым человеком хорошего дворянского семейства, обеспеченного материально, окончившим курс в Московском университете и не знающим, как приняться за дело, чтобы быть полезным обществу и вместе удовлетворить внутренней жажде деятельности. Будучи человеком слабого характера, воли нерешительной, он не находит никаких для себя занятий и убивает совершенно бесплодно время молодости, так что автор романа выводит перед читателем на сцену своего героя 28-летним юношей, скучающим от безделья и путешествующим для развлечения в чужих краях...»

Но даже и здесь, в первой и «еще незначительной части» романа, цензор отметил несколько мест, отличающихся, по его мнению, «своею крайностью», резкостью и неблагонадежностью. Его возражения вызвали следующие строки:

1) стр. 361. «По поводу этого отъезда он вдруг вспомнил о тех страшных богатствах, о той безумной роскоши, которые ему приходилось видеть в больших городах Европы; вспомнил, что все эти богатства созданы руками вот этих самых людей и их же за это чуть не уморили с голоду».

2) стр. 374. «Смотрите, — сказал он, указывая на море. — Видите вы этот дым? Это дым моей родины, это русский дым. Там теперь горят леса и народ умирает с голода».

3) стр. 386. «Позор, густым туманом покрывавший русское имя, понемногу стал проясняться» и т. д. Речь идет о перемене общественного мнения в Европе относительно русских после умирения польского восстания.

4) стр. 391. По поводу этой картины голода, охватившего в 1867—1868 годах значительную часть России, Лебедев писал, что автор «самыми черными красками описывает равнодушные высших и достаточных классов нашего общества к страдающему народу»¹³.

В заключение Лебедев высказал опасение, что «в будущем развитии романа» проявится, вероятно, «известная тенденциозность». Из донесения цензора мы видим, с какой настороженностью органы политического контроля самодержавия за печатью относились к литературным выступлениям Слепцова. Однако нет все же оснований считать, что именно отзыв цензуры сыграл решающую роль в судьбе «Хорошего человека». Утверждение И. Н. Серегина, что дальнейшее печатание романа было запрещено цензурой, не подтверждается документами¹⁴. Ведь Лебедев признавал, что завязка романа «по общему своему содержанию не представляет ничего, противного цензурным постановлениям».

Главными причинами, которые не дали возможности Слепцову закончить «Хорошего человека», были не какие-то конкретные цензурные препятствия, ставшие на пути печатания произведения, а невозможность воплощения идейного замысла романа в условиях русской печати конца 1860-х — начала 1870-х годов и вытекающие из этого постоянный самоконтроль и самоцензура Слепцова. Это подтверждается изучением гворческой работы Слепцова над рукописями «Хорошего человека».

Уже беглый обзор содержания этих рукописей показывает, что мы имеем дело с фрагментами *первоначальной редакции* романа, резко отличной от журнального текста, напечатанного в «Отечественных записках». Здесь совершенно отсутствуют первая, вторая и большая часть третьей и пятой глав известного читателю текста, а четвертая глава имеет совсем иной вид. В рукописном тексте речь идет о приезде Теребенева в Петербург, дается интересная и острая характеристика русской жизни в 1868 г. Следовательно, есть основание говорить о *двух редакциях* первой части романа: рукописной и журнальной.

К сожалению, однако, рукописи «Хорошего человека» не дают возможности сколько-нибудь полно восстановить картину работы Слепцова над романом.

Рукописи (все они фрагментарны) образуют две группы: 1) относящиеся к первоначальной дожурнальной редакции романа и 2) знаменующие последний этап работы, на котором она и оборвалась — переделку VI главы, которой предполагалось продолжить публикацию романа, начатую первыми пятью главами в «Отечественных записках». Рукописи этих пяти глав журнальной редакции неизвестны. Отсутствуют и какие-либо другие документы, позволяющие судить о причинах, по которым Слепцов воздерживался от опубликования первоначальной редакции и должен был заменить ее новой. Поэтому сейчас мы можем только догадываться об этих причинах. Высказать их помогает вторая группа рукописей — наброски VI главы, которые мы публикуем в приложении.

Установить хронологическую последовательность набросков VI главы трудно, но, по-видимому, все они были созданы уже после опубликования начала романа в журнале, то есть после того, как Слепцов коренным образом перестроил произведение и отверг уже почти готовую первоначальную редакцию его. Изучая рукописи, можно установить,

что Слепцов, работая над VI главой, стремился использовать в ней некоторые материалы первоначальной редакции. В этом отношении любопытен набросок VI главы, который мы публикуем под № 3. Он во многом повторяет первоначальную редакцию и подводит читателя к эпизоду встречи Теребенева и Сапожникова, а также связан с журнальным текстом фразой о бесконечном количестве «пустых мест», по которым уже пришлось пройти Теребеневу. К этому варианту продолжения журнальной редакции, по-видимому, относится и набросок, публикуемый под № 2; в нем более подробно раскрывается мысль об искании Теребеневым «хорошего места» и «хорошего дела».

Набросок, печатаемый под № 4, видимо, отражает другой (или другие) вариант этой части произведения. Он имеет подзаголовок: глава VI (правда, этот подзаголовок зачеркнут рукой автора). Наиболее законченным и отработанным кажется набросок № 1, написанный почти без поправок и без правки.

Таким образом, сопоставление сохранившихся рукописей «Хорошего человека» с журнальным текстом романа позволяет высказать одну догадку: не намеревался ли Слепцов воспользоваться «первоначальной редакцией», которую он по каким-то причинам не дал своевременно в печать, для продолжения романа, начатого по-иному. Ведь коротенькая и как будто оборванная пятая глава журнального текста только подводит читателя к описанию петербургских встреч Теребенева. А в первоначальной редакции именно это описание является идейным и сюжетным центром произведения. Наше предположение подтверждает также и характер правки перебранных частей первоначальной редакции, отразившей явное стремление Слепцова связать воедино опубликованные в журнале главы и оставшуюся неиспользованной рукописную редакцию романа.

Однако все это лишь гипотезы. Воспроизводя же в настоящей публикации первоначальную неоконченную редакцию повести (романа), мы, разумеется, имеем право рассматривать ее только как отражение раннего (должно быть первоначального) замысла произведения, в котором образ Теребенева отчетливо рисовался автору как образ именно «хорошего человека» в потаенном значении этих слов.

Обращение к первоначальной редакции повести позволяет глубже проникнуть в идейный замысел произведения, написанного, как обычно у Слепцова, в эзоповской манере. И хотя некоторые мысли автора высказаны в журнальной редакции яснее, чем в рукописи, в целом первоначальная редакция значительно полнее раскрывает подлинные намерения писателя, оказавшиеся затем, в результате самоцензуры Слепцова, и, вероятно, «цензуры» редакции «Отечественных записок», тщательно «закамуфлированными» иносказаниями и намеками эзопова языка.

В итоге текст журнальной редакции был настолько затемнен, что перед читателем предстал в образе главного героя Теребенева не столько демократ, гонимый реакцией 1862—1863 гг., сколько слабовольный барин, бесцельно скитающийся по Европе. Об идеалах Теребенева говорилось здесь в высшей степени смутно. Больше всего герой романа, пожалуй, был похож на «кающегося дворянина», замаливающего свои грехи перед народом. Только по некоторым намекам искушенный читатель, привыкший к иносказаниям литературы шестидесятых годов, мог догадаться, что Теребенев путешествует за границей не ради собственного удовольствия, что он бежал из России в самый разгар реакции. Конечно, только очень вдумчивый читатель понял, что в поисках «настоящего дела» Теребенев стремился найти именно революционное дело, а говоря о том, что надо «вернуться к печке» и «начать сначала», он имел в виду свою новую мысль: вернуться в Россию и принять участие в подготовке освободительной борьбы народа. Заметим, кстати, что Слепцов, помогая читателю расшифровывать содержание своего произведения, выделил курсивом в журнальном тексте упомянутые выше выражения.

Анализируя идейное содержание романа и пытаясь как можно полнее осветить фигуру Теребенева, мы, естественно, будем руководствоваться обеими редакциями произведения: как рукописной, первоначальной, так и журнальной.

Слепцов начинает свой роман, не указывая точно времени действия: «В начале июня 186* г. приехал в Петербург „неслужащий дворянин“ Сергей Николаевич Теребенев». Однако из текста романа явствует, что действие происходит летом 1868 г. Опреде-

лить это помогает V глава журнальной редакции, где говорится, что за два года до приезда Теребенева в Петербург любопытные петербуржцы ездили смотреть прибывшую в Кронштадт официальным визитом американскую эскадру. Визит этот состоялся в 1866 г., поэтому можно заключить, что в романе речь идет о событиях 1868 г. Теребев пробыл в Европе четыре года, следовательно, уехал он туда в 1864 г. Слепцов ironically замечает, что в это время «удаление из столицы совершалось большей частью добровольно, по крайней мере настолько добровольно, насколько возможен был выбор из худшего лучшего». Волна полицейских репрессий 1862—1863 гг. вызвала ответную волну эмиграции. Это были уже не одиночки, подобные Герцену и Огареву, Бакунину и Сазонову, а многие десятки лиц, стремившихся к деятельной борьбе с самодержавием («молодая эмиграция»). «Удаление» из России в эмиграцию молодых революционеров, действительно, чаще всего происходило вследствие необходимости выбора «из худшего лучшего». Почти все они вынуждены были бежать, спасаясь от ареста, грозившего им тюрьмой или ссылкой. Биографии русских политических эмигрантов лучше всего подтверждают это.

В 18'3 г. покинул Россию, спасаясь от ареста, Н. И. Утин, член ЦК «Земли и воли», в 1862 г. после раскрытия тайной типографии Баллода перешел границу Н. И. Жуковский, в 1863 г. угроза ареста и обыска заставила бежать М. С. Гулевича, в том же году эмигрировал А. Д. Тусов, которого царский суд приговорил к смертной казни за участие в польском восстании. Из заключения, выпилив оконную решетку, скрылся за границу Иван Кельсиев; в 1863 г. уехал за границу П. С. Мошклов, автор известной прокламации «Русское правительство под покровительством Цедо-Ферроти». Наряду с активными участниками революционного движения, за рубежом царской империи отправлялись в это время многие молодые люди, не имевшие в виду порывать связей с родиной, но искавшие за границей какого-то выхода своим оппозиционным настроениям. «Хороший человек» Теребев был одним из таких людей.

По некоторым фразам первоначальной редакции можно судить даже о деятельности Теребенева до отъезда за границу. «Помнит он, что жил он в Балаповском уезде и ничего не чувствовал, не понимал; потом как-то так случилось, что он вдруг все понял и почувствовал неодолимое желание бежать, бежать, бежать куда-то туда. И побежал. Точно будто зарядили пушку, всунули его туда и выпалили. Помнит он, что он летел оттуда, все летел, все летел, до тех пор пока ударился лбом обо что-то твердое. Очнувшись и видит, что это стена. Отсюда его рикошетом понесло влево и несло таким манером вилоть до самого Парижа». Сопоставляя этот отрывок с III главой журнальной редакции, в которой рассказывается о детстве Теребенева, мы вправе сделать вывод, что стремление «бежать, бежать, бежать» от скверной российской действительности появилось у него после знакомства с «хорошим человеком» Хомяковым, натолкнувшим избалованного, но чуткого и отзывчивого «барчонка» на мысль, что в жизни нужно искать не личного благополучия, но «дела». «Сначала он искал счастья, впоследствии он стал искать дела», — пишет Слепцов и, выделяя курсивом слово «дело», подчеркивает, что речь идет именно о революционном служении народу, — «но как счастье, так и дело всегда представлялось ему *готовым*, требовалось только его найти». Мы замечаем здесь настойчивое возвращение Слепцова к основной мысли своего романа: причина кризиса во взглядах русских революционных демократов именно та, что они полагали, будто народ готов к революции и нужно только поднять его на борьбу. В действительности не было никакого «готового дела», его нужно было создавать настойчиво, медленно, кропотливо.

Уехав из родного уезда, юноша Теребев стал одним из тех представителей молодых сил русской разночинной демократии, которые связали «вою судьбу с освободительной борьбой». Слепцов подчеркивает верность Теребенева передовым общественным убеждениям с первых до последних дней: «Теребев принадлежал к разряду людей, на поступки которых возраст, по-видимому, не оказывает почти никакого влияния. У Теребенева, *всегда была одна цель и образ действия всегда был один и тот же*» (курсив наш. — Л. Е.). Что это была за цель — видно из первоначальной редакции романа. Теребев не просто почувствовал «неодолимое желание бежать» из уездной глуши в столицу. Совершенно ясна цель его бегства: в столицу Теребев направился

в поисках служения «делу». Петербург в те годы был «местом свидания», куда сходились демократы со всех концов России, и «все повторяли одно и то же слово, и всем оно нравилось, потому что это было название нового божества, которому все собрались поклоняться, и на это торжество все шли, все шли...»

Уже с осени 1861 г. в Петербурге начинают объединяться разрозненные революционные кружки: в 1862 г. заявляет о своем существовании тайное общество «Великорусс», организационно оформляется «Земля и воля». Петербург действительно был своеобразным «сборным местом для россиян», поклоняющихся одному «божеству». «Божество» называлось революцией, но надежды на ее быстрый приход скоро рухнули. Терещенев, как и другие, увидел, что перед ним «стена», стена еще непоколебленной в своей основе самодержавно-полицейской власти, стена крестьянской пассивности, стена косной реакционности городского мещанства. Тогда его «понесло влево». Направо, в Сибирь, демократов увозили насильно, на тройках с жандармами. Терещеневу «повезло», он уехал «добровольно» в Париж.

Мысли Терещенева любопытно сопоставить с теми суждениями Василия Кельсиева, в которых он мотивирует причины своей эмиграции. Кельсиев бежал за границу в 1862 г., сразу же после появления прокламации «Молодая Россия» и провокационных пожаров. «Было душно, невыносимо тяжело, — пишет он в своей «Исповеди». — Бежать стало потребностью, бежать, куда глаза глядят; нужно было за дело какое-нибудь взяться, чтобы в борьбе забыть горе. Нужно было все заново начинать, и я уехал в Турцию, я не выдержал»¹⁵. Отметим характерные совпадения лексики в «Исповеди» Кельсиева и в романе «Хороший человек»: «душно», «бежать», «дело», «заново начинать». Все эти слова употребляются Кельсиевым и Слепцовым в их втором, тайном значении.

Терещенев, подобно деятелям «молодой эмиграции», «бежал» не для того, чтобы путешествовать и развлекаться. Он уехал из России, чтобы подготовиться и «заново начать дело» у себя дома. Работа за границей осознавалась представителями «молодой эмиграции», как действенное средство освобождения родины от деспотизма. «Меня мучит, — писал А. А. Серно-Соловьевич, — что я не еду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей, но мое единичное мщение было бы недостаточно и бессильно; работая здесь, в общем деле, мы отомстим всему этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения этого порядка повсюду, повсеместно!..»¹⁶.

В эти годы в Западной Европе широко развернулось рабочее движение. С сентября 1864 г. «Международное товарищество рабочих» распространило свою деятельность на все европейские государства. Русские политические эмигранты не стояли в стороне от этого движения. «Без преувеличения можно сказать, что не существовало в Швейцарии почти ни одного русского эмигранта, который не состоял был членом той или другой секции Интернационала», — пишет Б. П. Козьмин¹⁷. Терещенев за границей «изучал рабочий вопрос, посещал всевозможные съезды, слушал лекции, принимал участие в разных сходках и демонстрациях», «ездил на поклонение Мадзини».

Какие же съезды, сходки и демонстрации мог посещать Терещенев? Он был за границей с 1864 г. до конца 1867 г., жил в Париже, Женеве, Берне и Баден-Бадене, кроме того, разъезжал по всей Европе. Интересно упоминание о том, что Терещенев ездил на поклонение к Мадзини, который, как известно, с 1853 г. жил в Англии. Следовательно, Терещенев побывал и в старом центре русской эмиграции — Лондоне. За эти годы в Европе произошли крупнейшие международные события: многолюдный митинг в Лондоне 28 сентября 1864 г., на котором был основан I Интернационал, конференция I Интернационала в Лондоне 25—29 сентября 1865 г., съезд русских эмигрантов в Женеве (декабрь 1864 — январь 1865 гг.), пятитысячный митинг немецких рабочих в Лейпциге (1866 г.), Женевский конгресс I Интернационала 3—8 сентября 1866 г., стачка бронзовщиков в Париже (1867 г.), конгресс I Интернационала в Лозанне 2—7 сентября 1867 г. и т. д. К тому же, если учесть, что роман Слепцов писал в 1867—1871 гг., то в нем могли отразиться и следующие конгрессы I Интернационала — брюссельский и базельский.

Герой Слепцова не случайно интересуется рабочими съездами, сходками, демонстрациями. В 1860-х годах в России повысился интерес к рабочему вопросу. В периодической печати то и дело стали появляться статьи и заметки о положении рабочего

класса в Европе. В 1868—1869 гг. газеты «Голос» и «С.-Петербургские ведомости» печатали подробные корреспонденции П. Д. Боборыкина о съездах рабочих в Брюсселе и Базеле¹⁸. Слепцову, конечно, были известны такие статьи. Создавая роман о переломном этапе в жизни русской революционной демократии, он чутко подметил сдвиг общественных симпатий в сторону пролетарского движения, предположив, что *в этом мог быть выход из кризиса*. Тем самым Слепцов отразил в романе настроения той части русского общества, которая сочувственно и с надеждой следила за деятельностью I Интернационала.

Герой романа Теребеньев из России едет в Париж. Попал он туда, — как говорит Слепцов, — «в самое неблагоприятное время», когда «русских везде преследовали, смеялись над ними». В этих словах заключается намек на международное положение России в середине 1860-х годов. После 1863 г. русских за границей принимали недружелюбно. Русскому царизму не могли простить кровавого усмирения Польши. Особенно сильно было негодование во французском обществе, тесно связанном с кругами польской эмиграции. Да и Наполеон III по тактическим соображениям выступал, как известно, против политики Александра II в Польше. Так, Е. А. Штакеншнейдер записывает в своем дневнике вскоре после польского восстания: «Скверное положение России. За границей ругают. Нашим барыням, говорят, *житья нет в Париже*, везде карикатуры, насмешки на русских... Какого тяжелого драматизма полно положение всякого русского»¹⁹. Подобную же запись находим и в «Дневнике» А. В. Никитенко 25 апреля 1863 г.: «Самарское дворянство постановило вызвать из-за границы и особенно из Парижа наших путешественников, которые терпят там всяческие оскорбления русского имени»²⁰. Теребеньеву же «даже правилось быть до известной степени гонимым; и если случалось, что и на его долю попадали кое-какие шпильки, то он принимал их как должное, снисходительно улыбаясь и в то же время торжествуя в душе и вполне довольствуясь сознанием того, что эти шпильки попадают в него по недоразумению, только потому, что нападающим *не достаточно известен его политический образ мыслей*» (курсив наш. — Л. Е.). Характер политических убеждений Теребенева обрисован в этих строках совершенно четко. Он считал враждебность против усмирителей Польши совершенно справедливой и даже тесно «сошелся с одним польским семейством».

Но время шло: «события сменялись событиями, и в политических мнениях Европы мало-помалу подготавливался переворот в пользу России». К 1867 г. международное положение России значительно упрочилось. В 1866 г. вместо прежних натянутых отношений с Францией между парижским и петербургским дворами установились очень благожелательные отношения. Французский министр иностранных дел Мустье предлагал русскому послу Горчакову заключить соглашение с целью умиротворения восставшего Крита. Франция стремилась обеспечить себе нейтралитет России на случай задуманного ею покорения Бельгии, и поэтому старательно избегала конфликтов. В середине 1866 г. с официальным визитом в Петербург прибыла американская эскадра, что было началом прочного союза русской и американской дипломатии. Но решающую роль, конечно, сыграли военные успехи русской армии в Средней Азии. Начиная с 1864 г., войска медленно, но упорно продвигались в Туркестане. В течение 1865—1868 гг. были завоеваны Бухарское, Хивинское и Кокандское ханства, что значительно укрепило положение России в Азии. Россия приближалась к Индии, и Англия высказывала опасения по этому поводу. По-видимому, именно эти события имеет в виду Слепцов, иронически говоря о восстановлении «русского имени» в «лучах военной славы» на востоке.

В это время в Европе господствовала реакция, и в 1868 г. Теребеньев уже не мог найти себе там «дела». Характеризуя его отношение к политике западноевропейских государств, Слепцов говорит, что Теребеньев «законфузился», услышав, что Наполеон с похвалой отзывался о предпринимаемых в России реформах, и понял, что в Европе ему больше делать нечего. Он решил ехать через Гамбург в Америку. По сравнению с большинством западноевропейских стран, не говоря уже о России, молодая американская республика представлялась многим революционерам 1860-х годов сказочной страной демократических свобод и подлинного равенства. Многих тянуло в эту «свобод-

ную» страну не только из удушливого мрака русской жизни, но также из духоты буржуазной Европы. Добровольно уехал в Америку, отказавшись от блестящей карьеры, полковник И. В. Турчанинов с женой, бежал в Америку М. П. Сажин, которого разыскивала полиция в связи с каракозовским делом; переехал туда из Лондона П. С. Мошкалов. Даже у Герцена возникали порою мысли о переселении в Америку. «Если реакция победит,— писал он, — в Европе будет страшно, победа может продлиться на целое поколение, от 15 до 17 лет; надобно бежать в Америку, борьба не будет возможна»²¹. Но Теребнев в Америку не уехал; в Гамбурге он передумал и вернулся в Россию. В первоначальной редакции мотивировка возвращения Теребнева (сцена в Гамбургском порту) еще отсутствует.

«В то лето как-то особенно много русских возвращалось из-за границы, точно их вдруг погнали отсюда». Эта фраза опять-таки соответствует историческому факту. Русская эмиграция была по своему составу очень разнородна. Наряду с такими крупными деятелями революции, как А. А. Серно-Соловьевич, Н. И. Утин, Н. И. Жуковский, М. С. Гулевич и другие, за границу в 1862—1863 гг. эмигрировала молодежь, которая часто не имела достаточно серьезного повода, чтобы покидать Россию и переходить за границей на положение эмигрантов. «Это народ совсем особенный и ничуть не похожий на вожаков, — писал о представителях эмигрантской массы В. И. Кельсиев. — Большинство их составляют бывшие гимназисты, недоучившиеся студенты, прапорщики и поручики, мелкие чиновники, солдаты, мастеровые, которые из фразы, из увлечения пошли на баррикады или в повстанье и унесли свои головы в эмиграцию»²². К 1867 г. жизнь на чужбине для многих из них стала невыносимой. Отсутствие «настоящего дела», материальные лишения, потеря связи с родиной побудили их постепенно перебраться в Россию.

Разумеется, далеко не всем эмигрантам представлялась реальная возможность вернуться на родину. «Вожак», конечно, по приезде, неминуемо попал бы в лапы III Отделения. Возвращались, говоря языком В. И. Кельсиева, «хористы революции», люди, не имевшие особых политических грехов перед царским правительством. Многие из них уехали за границу с образовательными целями или в путешествие и лишь впоследствии оказались связанными с эмиграцией. Они могли возвращаться сравнительно безнаказанно. Так, в 1867 г. вернулся в Россию А. А. Черкесов, вслед за ним приехали Л. А. Рентгартен, Н. Я. Николадзе, В. Ф. Лугинин и многие другие. Их судьба в России тоже сложилась по-разному. Некоторые, подобно В. И. Кельсиеву, капитулировали перед самодержавно-полицейским строем, другие, напротив, остались верны прежним убеждениям и скоро вновь привлекли внимание недремлющего ока царской полиции. Например, Черкесов, вернувшийся с определенной целью — наладить книжную торговлю запрещенной пропагандистской литературой, — в 1869 г. вторично был арестован. Одного из них напоминает нам Теребнев.

Мы знаем, что он — молодой человек, кандидат Московского университета. Поэтому можно предположить, что он один из участников студенческого движения. Однако нет оснований думать, что он, подобно В. Ф. Лугинину, отправился за границу с целью закончить там свое образование. Вспомним, какова была его деятельность в Европе: в Париже он «ходил по кофейням, читал газеты, спорил и весь погрузился в политику». Во время поездок по другим странам рабочие съезды, сходки и демонстрации заменяли ему лекции; наконец, в Женеве он пытался сблизиться с людьми «настоящего дела». Поэтому по дороге в Россию он испытывал такое чувство, «как будто кончил где-то курс и едет домой...». Нам кажется важным специально подчеркнуть это, так как до сих пор в критике господствует мнение, что в образе Теребнева Слепцов показал «избалованного слабовольного барича, исполненного благородных порывов»²³, который лишь на короткое время и совершенно случайно сближается вначале с революционными кругами петербургской молодежи, а потом, в Европе, с революционно настроенными русскими эмигрантами. Чтобы опровергнуть это мнение, напомним цитированные выше слова Слепцова о Теребневе: «У Теребнева всегда была одна цель и образ действия всегда был один и тот же». Это был человек, для характеристики которого возраст не имел большого значения именно потому, что время не меняло его основных убеждений. Разумеется, мы не хотим сказать, что в Теребневе

Слепцов задумал вывести образ одного из вожakov движения. Конечно, это один из массы, рядовой, но рядовой в освободительной борьбе, а не безвольный барич, который от скуки рядится в революционные фразы.

Теребенев — один из немногих русских, вернувшихся на родину «нераскаянными», с единственным желанием продолжать «дело», которому он служил раньше, но продолжать его в изменившихся условиях, учитывая все ошибки прошлого и многое понимая, соприкоснувшись с богатым опытом рабочего движения в Европе. По внешнему виду он напоминал человека, «несколько лет просидевшего в тюрьме или приезжего». Этой фразой Слепцов опять подчеркивает, что Теребенев — не обычный путешествующий русский, вернувшийся из-за границы, а единомышленник демократов, сидевших в тюрьме. Он приехал в Россию с ясно осознанной целью: чтобы в народе, вернувшись к той самой «печке», от которой он танцевал в 1862—1863 гг., «начать сначала» дело революции.

Большая часть первоначальной редакции романа посвящена описанию Петербурга летом 1868 г. Пользуясь иносказанием, Слепцов сообщает читателю, что в Петербурге было по-прежнему «душно», по-прежнему чувствовалась надобность в освежающей грозе. Духота, которая окружила Теребенева по приезде в город, олицетворяет, разумеется, духоту политической жизни России.

Другой эзоповский термин, примененный Слепцовым для выражения состояния русского общества второй половины 1860-х гг., — «тишина». Слово «тишина» часто использовалось в революционно-демократической литературе для обозначения общественной и политической реакции. Особенно глубоко был разработан образ «тишины»-реакции в позднейшей сатире Щедрина (см. в «Письмах к тетеньке»: «Хорошо у нас нынче, тихо! Давно так не бывало. Встречаются люди на Невском: Что нового? — Да ничего не слышать». «Тихо, тетенька! чере чур уж тихо <...> просто самая жизнь как будто оборвалась»²⁴. См. также в письме Щедрина к Н. А. Белоголовому от 21 декабря 1881 г.: «Просто измучились мы совсем от этой тишины. Такое всюду безмолвие, точно в монастыре живешь»²⁵). «Тишина», политическая пассивность общества — характерный признак Петербурга, поразивший Теребенева после его возвращения на родину в 1868 г. «На Невском прежде, четыре года тому назад, было так шумно, столько было езды, беготни, суеты, а теперь, — напротив, тишина необыкновенная». Конечно, в Петербурге не убавилось уличного шума и суеты, но общество под гнетом «тишины» стало «пошлеть», поэтому и лица у встречных кажутся Теребеневу необычайно широкими, расплывшимися от тихой и пошлой мещанской жизни. «Царила всюду тишина необыкновенная, — писал об этих годах М. П. Сажин, — нигде не было никаких проявлений не только жизни политической, но даже общественной, ни в среде литературной, ни общественной, ни студенческой. Всякие культурные начинания были закрыты и строго преследовались полицией, которая царила везде и всюду»²⁶.

Любопытно, что мы встречаемся в романе Слепцова и с другим пониманием слова «тишина». «Тишина» обозначала в романе «Хороший человек», кроме того, и затишье революционной борьбы. В таком значении она, по-видимому, широко употреблялась в среде эмиграции.

Характерен разговор Герцена с Бакуниным в Лондоне, 27 декабря 1861 г., свидетелем которого был Василий Кельсиев:

«В Польше только демонстрации, — сказал Герцен, — да авось поляки облагоразуются, поймут, что нельзя ж подыматься, когда государь только что освободил крестьян. Собирается туча, но надо желать, чтоб она разошлась.

— А в Италии?

— Тихо.

— А в Австрии?

— Тихо.

— А в Турции?

— Везде тихо, и ничего даже не предвидится.

— Что ж тогда делать? — сказал в недоумении Бакунин. — Неужели ж ехать куда-нибудь в Персию или в Индию и там подымать дело? Эдак с ума сойдешь, — я без дела сидеть не могу»²⁷.

Итак, «тишина» — это не только жизнь, заглохшая под натиском реакции, это также отсутствие революционного дела, и именно поэтому Петербург кажется Теребеневу «пустым местом», а все прошлое — бесконечным «хождением по пустым местам».

Действительно, за последние годы город как-то «странно опустел»: один за другим исчезали в тисках реакции лучшие люди. Да и сам город очень изменился: «литература в упадке, к нравственным интересам замечается охлаждение, а вместо того на первый план выступает спекуляция и жажда грубых наслаждений. Общественные дела как будто процветают, но, в сущности, все сводится к одному: к личной и по возможности «скорой наживе». Это был уже не тот, примолкший от репрессий Петербург, который оставил Теребнев в 1864 г., и не тот, каким он знал его десять лет назад, в эпоху демократического подъема конца 1850-х годов. Завершался первый период реформ, которые были «шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную»²⁸. В Петербург нахлынула толпа прожектеров и спекуляторов, с колоссальной быстротой стали развиваться всевозможные капиталистические предприятия. Город лихорадило от концессионной горячки. Строилась первая сеть русских железных дорог. В этой толпе Теребнев чувствовал себя чужим, но тем не менее он сразу же заметил, что, в сущности, в городе ничего не изменилось. При помощи эзопова языка Слепцов говорит о том, что реформы не устранили социального неравенства, нищеты и язв общественного строя. Все тот же полицейский режим бесправия царит в городе, почему по-прежнему и ходит по Невскому все тот же «господин с испуганным лицом». И даже «нищие те же самые, с теми же вывернутыми членами, с теми же болячками» и самое главное, что эти «болячки» находятся на тех же местах, где они были до реформ.

По-прежнему грубо попирается человеческое достоинство, по-прежнему издеваются над людьми, а народ все так же подавленно молчит. Первое, что увидел Теребнев в Петербурге, была избитая женщина. Этот эпизод символичен и несет большую смысловую нагрузку в романе. Когда Теребнев пытается помочь женщине, защитить ее, она грубо отталкивает и осмеивает его. Смеются и мужики на барже. Народ еще не принимает революционной интеллигенции и ее призывов к освободительной борьбе. Нельзя делать ставку на готовность самого народа к активному выступлению; он способен осмеять своих освободителей, нужно развивать его сознание путем каждодневной работы в массах. На наш взгляд, такие мысли заключены между строк эпизода с избитой женщиной, символизирующей народную Россию.

Характерно, что и в журнальном тексте имеется близкая по содержанию сцена: на пристани в Гамбурге Теребнев предлагает деньги швабу-переселенцу, но тот тоже отказывается от помощи. Однако русская женщина просто не понимает стремления Теребнева защитить ее, считая его чужим, «баринном», а работник-шваб сознательно отвергает деньги, понимая, что они достались Теребневу за счет эксплуатации таких же рабочих, как он сам. «Я потребитель, — рассуждает Теребнев, — т. е. один из тех, которые, так сказать, питались его потом и кровью; и вдруг этот потребитель подлетает к нему и говорит: „Вот тебе, братец, на чай! возьми, в дороге годится“» (II, 365). Разница в уровне сознания народа в России и в Западной Европе была Слепцову очевидна.

Чернышевский называл русский общественный строй «азиатством», возмущался «азиатским порядком дел» в России. Борьба за всестороннюю европеизацию России была, по словам Ленина, присуща всем революционным демократам. Сопоставляя русский полицейско-самодержавный режим с западноевропейскими формами госуда, ственного устройства, они мечтали о социальном перевороте, связывая с ним мечты об общечеловеческой справедливости. «Мысль потускнела, утратила всякий вкус к „общечеловеческому“; только и слышишь окрики по части благоустройства и благочиния», — писал Щедрин²⁹. В этом же смысле говорит об «общечеловеческом» и Слепцов. Отвыкнув за четыре года жизни за границей от русского «азиатства», Теребнев стремится действовать «по-общечеловечески», но, как доказывает Слепцов, в России это не так просто. Европейские методы борьбы неприменимы в русских условиях, поэтому Теребнев едет «будить» народ и едет именно к «печке», в деревню.

Итак, в Петербурге ничего не изменилось, «великие реформы» остались в основном красивыми словами и не дали радикальных результатов. Например, реформа суда (1864 г.) привела лишь к тому, что «вдруг расплодилось несметное количество дель-

цов, одержимых страстию хождения по делам», положение же народа не улучшилось, а ухудшилось.

С весны 1868 г. в стране начался страшный голод. Вскоре даже в Петербург стали приходить оборванные, голодные крестьяне. «Страждущие от неурожая», — так их называли тогда. Они просили милостыню. «Первая голодовка пореформенной России, — пишет Аптекман, — появилась уже через 6—7 лет после „воли“, т. е. в 1867—1868-х годах. Она охватила девять губерний: пять — северных и четыре — центральных»³⁰. Особенно сильно от голода пострадали жители Финляндии. 11 марта 1868 г. газета «Весть» сообщала во внутренних известиях: «Финляндские газеты приводят самые раздирающие картины голодной смерти, прибавляя, что описанное дает слабое представление о бедствии населения. Взывая о помощи, газеты эти замечают, что хотя теперь принимают уже некоторые меры, но этого недостаточно, должно торопиться; с каждым днем, с каждым часом умирают целые семьи, целые деревни единственно потому, что не имеют хлеба».

«— Mais je suis affamé comme un* голодающий финляндец. Дайте мне рюмку водки!» — слышит Терebeneв в первом же трактире, куда он зашел пообедать. Петербургское общество откликнулось на народное бедствие филантропически-развлекательными мероприятиями. Газеты пестрели такими объявлениями:

«15 марта будет дан духовный концерт в пользу бедствующих от неурожая жителей».

«Отчет о сборе по маскарადу, данному Харьковским коммерческим клубом 7 февраля 1868 года в пользу бедствующих от неурожая жителей»³¹.

«7 марта в зале Артистического кружка состоится литературно-музыкальный вечер в пользу пострадавших от голода Мценского уезда»³².

Петербургцы развлекались и даже ездили смотреть на толпы голодных людей, как ездят в зверинец. Терebeneв с отвращением наблюдает за обедающими господами, которые с аппетитом уничтожают все поставленные перед ними блюда. «Ему казалось, что, рассуждая об умирающих с голоду, можно бы, по крайней мере, хоть есть поскромнее (...) Сам он с тех пор, как приехал в Россию, ни разу еще не обедал как следует: он считал это даже подлостью».

Страницы романа, саркастически рисующие отношение петербургского общества к голодающим, пожалуй, больше всего удались Слепцову. В них с максимальной отчетливостью сказались его взгляды, потому что в образе Терebeneва, несомненно, есть много биографических черт самого автора. И хотя Слепцов никогда не уезжал из России, его чувства (чувства человека, только что выпущенного из тюрьмы), конечно, совпадали с чувствами *приезжего* Терebeneва.

В 1868 г. Терebeneв не надеялся встретить в городе своих единомышленников³³. «Петербург в последнее время, действительно, опустел», «мало-мальски порядочные люди один за другим куда-то исчезают, точно их ветром сносит». «Ветер» политической реакции и в самом деле свирепствовал. Июньские репрессии 1862 г. оставили революционных демократов без вождей, а после каракозовского выстрела начались массовые аресты.

Почти одновременно были арестованы В. А. Зайцев, В. С. и Н. С. Курочкины, Д. Д. Минаев, Г. Е. Благовестов, В. И. Покровский, Г. З. Елисеев и другие.

Естественно, что новости, которые могли сообщить Терebeneву его знакомые, были «все такого рода, что лучше бы их вовсе не слышать». В образе Сапожникова, с которым случайно столкнулся Терebeneв на Невском проспекте, Слепцов дал злую карикатуру на людей, примазывавшихся к делу революции. Это человек типа тургеневских Ситникова и Кукшиной, образы которых так оценил Писарев: «Художник, рисующий перед нашими глазами поразительно живую карикатуру, осмеивающий искажения великих и прекрасных идей, заслуживает нашей полной признательности»³⁴. Интересно, что в романе «Отцы и дети» Евдоксию Кукшину вызвался проводить за границу тоже Риегге Сапожников.

* Но я голоден, как (франц.).

« — Pierre Сапожников... вы его знаете?

— Нет, не знаю.

— Помилуйте, Pierre Сапожников... он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает»³⁵.

Очевидно, прототипом этих героев было одно и то же лицо. Можно предположить, что под именем Сапожникова Тургенев, а вслед за ним и Слепцов изобразили Сергея Павловича Колошина, довольно известного в русских литературных кругах. С. П. Колошин (1825—1866) большую часть жизни занимался литературной деятельностью. Крайне неустойчивый в своих политических симпатиях, он постоянно переходил из одного печатного органа в другой, нигде не занимая прочного положения. В 1859 — 1861 гг. он примыкал к «молодой редакции» «Москвитянина». Позднее писал юмористические очерки и фельетоны для «Пантеона», «Северной пчелы» и «Развлечения». В 1858 г. вышел в свет его роман «Сибирские язвы», а в 1861—1863 гг. он издавал журнал «Зритель».

Писания его тоже отличались крайней пестротой. Ему было безразлично, что писать, лишь бы работа оплачивалась. В начале 1860-х годов его произведения резко критиковал Добролюбов в рецензии на сборник «Утро»³⁶. Слепцов мог познакомиться с Колошиным и близко узнать его во время работы в «Северной пчеле».

В 1863 г. Колошин, как и герой слепцовского романа, уехал за границу. Он долго жил в Италии, откуда посылал корреспонденции в «Голос» и «Русский инвалид», а позднее описал свою поездку в «Современной летописи». Последние годы жизни он провел во Флоренции. Предположение, что прототипом Сапожникова был именно С. П. Колошин, основано не только на сходстве фамилий (сапоги — калоши) и фактов биографий. Оно подтверждается и письмом Колошина к Некрасову, в котором необычайно явственно проглядывает облик этого человека, разительно схожий с фигурой Сапожникова. Нуждаясь материально, Колошин дважды обращался к Некрасову, чтобы получить пособие Литературного фонда. Вот выдержка из его письма от 14/26 июля 1867 г.: «Я перетаскился во Флоренцию в надежде понемногу улучшить мое положение. Но не знаю, долго ли будет возможно выдержать участие в гнусной лавочке Italie, где на первое время работаю. Зато по отношениям этой газеты к правительству и моим личным с демократиею могу более, чем когда-нибудь, быть полезным русскому журналу политическими корреспонденциями. На днях посылаю в „Голос“ первую мою „Флорентинскую неделю“, если это писание застанет вас в Петербурге, будьте добры — замолвите словечко отцу Андрею, да повелит дать мне место <...> Если бы можно было найти работу в других журналах, прошу вас иметь в предмете, что я, как русский, знаю языки французский, немецкий, английский, итальянский, следовательно, кроме корреспонденций и статей об Италии, могу служить переводами по указанию редакции или собственному выбору и читаю все современное по части политики и социальных вопросов. Пусть, если угодно, заказывают мне статьи. Работаю скоро и честно. Журналов у вас ведь нынче много <...> Если вы или кто из ваших друзей затеете ехать в Италию, требуйте от меня каких угодно справок. Лучший город для жизни Милан, но зимою Флоренция веселее. Впрочем, до зимы столица, может быть, уже будет в Риме»³⁷.

Беззастенчивая реклама собственных способностей, политическая безалаберность, похвальба своими связями с демократией очень напоминают Сапожникова. Дополняет сходство стремление Колошина предложить свои услуги, если Некрасов или его друзья задумают ехать за границу. Даже в письме к Некрасову он дает несколько справок, которых у него не требуют.

Разговор Сапожникова с Теребневым полон иносказаний.

« — Что наши? » — спрашивает Сапожников, и мы понимаем, что речь идет о революционных эмигрантах, оставшихся за границей (в Баден-Бадене, как сказано в одном из рукописных вариантов этого эпизода).

« — Ветер дует в нашу сторону », — сообщает он о новом нарастании недовольства в стране. Действительно, к 1868 г. началось некоторое оживление общественной жизни. В конце 1867 г. заволновались студенты Петербургского технологического училища, начались большие и шумные сходки, вновь появились подпольные прокламации.

Доляжно быть поэтому Сапожников с жаром объясняет Теребеневу, что «теперь, наконец, наступила решительная минута действовать». «—Ах, вы не знаете, что тут было без вас. Я даже хотел вам писать!» — восклицает он. Оказывается, Катков «сделал промах», а «петербургское земство ошиблось».

В 1866 г. Катков осмелился слишком резко отозваться о политике в. к. Константина Николаевича и министра Валуева, за что был отстранен от редакции «Московских ведомостей». «Катков преступил пределы благопристойности в полемике против некоторых из правительственных ведомств и Министерства народного просвещения, — писал С. С. Татищев, — он получил от Министерства внутренних дел предостережение, которое отказался напечатать в своей газете, и объявил, что предпочитает вовсе прекратить ее издание»³⁸. О том же сообщил П. В. Долгоруков в «Письме из Петербурга», напечатанном в «Колоколе» 1867 г.: «В прошлом году Катков прочитал слишком уж резкие нотации великому кн. Константину Николаевичу и Валуеву, его от редакции отстранили, преемник его отказался помещать политические статьи...»³⁹.

Однако вскоре протест москвичей вынудил правительство вернуть Каткова на прежнее место. Царь принял и обласкал его, «Московские ведомости» по-прежнему продолжали защищать интересы реакционной части дворянства.

Вторым нашумевшим конфликтом в это время явилось закрытие петербургского земства. 21 ноября 1866 г. было издано распоряжение, ограничивающее право земств облагать сборами промышленные и торговые предприятия. Петербургское земство высказалось против этого распоряжения в пользу расширения дарованных ему прав и принесло в Сенат жалобу на министра внутренних дел. Этот факт, а также бурные прения в заседаниях земства вызвали в январе 1867 г. правительственное постановление о временном закрытии и роспуске петербургского земского собрания. В числе причин закрытия земства было указано «овынение земством администрации в неудовлетворительном ведении земского хозяйства за прежнее время и порицание действий администрации»⁴⁰. Об этих двух событиях и рассказывает Сапожников Теребеневу.

Не так легко расшифровать еще один намек, содержащийся в том же разговоре. Теребнев собирается приобрести в Петербурге книги и ехать в деревню просвещать народ. Чтобы отвязаться от назойливого Сапожникова, чья болтовня ему неприятна, он заходит в первый попавшийся книжный магазин — Русскую книжную торговлю. «Зачем? — перебивает его Сапожников, — пойдемте к Черкесову. Каких вы хотите книг? — по славянскому вопросу? — ни одной не найдете. Так постойте же, в таком случае *voilà ce que nous ferons**: я вас познакомлю с нашими славянами...». «Русская книжная торговля» была официозной книжной лавкой, в которой, конечно, не было книг неудобного правительству направления. Напротив, только что открытый книжный магазин А. А. Черкесова, видного деятеля освободительного движения, был одним из центров демократической общественности столицы. Прежде он принадлежал известному революционеру Н. А. Серно-Соловьевичу; возрожденный в 1867 г., продолжал привлекать оппозиционно настроенную молодежь. В 1862—1867 гг. Черкесов находился за границей, принимал участие в женевском съезде русских эмигрантов, ездил в Ниццу к Герцену. В его магазине можно было купить запрещенные книги, изпод полы там продавался и «Колокол» Герцена. После ареста Черкесова Огарев послал Жуковского «за Женеву осведомиться, что и как случилось, какие аресты в Петербурге, что за облык у Черкесова в лавке и т. д.»⁴¹.

Сапожников предполагает, что Теребеневу нужны книги по славянскому вопросу, одному из острых политических вопросов того времени. В конце 1866 — начале 1867 гг. внимание русской общественности, а также царской дипломатии было привлечено к попыткам выдающегося болгарского революционера Георгия Раковского организовать (за границей) добровольцев для освобождения Болгарии от турецкого ига.

Не совсем ясно, кого подразумевает Сапожников, говоря о «наших славянах». Известно, что русская демократия была тесно связана с революционными организациями славянских народов. В 1864 г. в Женеве готовился общий съезд представителей русской и славянской эмиграций.

* вот что мы сделаем (франц.).

Вероятно, речь тут идет о тех русских общественных деятелях, которые в 1867 г. составили из своей среды Комитет для встречи славянских гостей, приехавших в Россию на Славянский съезд и на этнографическую выставку, а в 1868 г. образовали под председательством А. Ф. Гильфердинга «Петербургский отдел славянского благотворительного общества» (см. в публикуемой ниже хронике «Новости петербургской жизни» ряд сатирических откликов Слепцова по поводу славянского съезда и отношения к нему русского общества).

Весь этот разговор для Сапожникова — пустая болтовня, способ «кстати» занять собеседника.

«—А кстати, женский вопрос, вы слышали, — фють! Все кончилось, и все они выходят замуж», — восклицает он.

Поэтому так неохотно и односложно отвечает ему Теребенев, представляющий в романе людей настоящего «дела».

Первоначальная редакция романа обрывается на очень интересном эпизоде: разговоре Теребенева с Новиковым и Кудрявцевым. Новиков — один из тех немногих, кто уцелел еще в Петербурге после «ветра» реакции. В тетради «№ V», содержащей этот разговор, сохранились два черновых наброска, в которых намечен образ Новикова. В первом из них он назван «Х»: «... выходит он из дому и прогуливается где-нибудь в глухом месте на берегу реки. Во время этих прогулок он размышляет о том, что хорошо бы бежать, а еще лучше — застрелиться, и останавливается пока — на водке. Но проходит месяц, два, и опять является у него новый проект, Х оживляется, нанимает извозчика и опять пошла езда». Второй набросок является ранним вариантом разговора в трактире. Теребенев слышит фамилию своего приятеля — Раслянова, — произнесенную господами, обедающими за соседним столиком. «Называя его, они отзывались о нем не совсем лестно. Один из них даже злился и просто ругал его...» Заинтересованный Теребенев спрашивает о нем всеведущего Сапожникова: «Послушайте, Сапожников, вы не знаете, кто это такие, эти господа? — спросил он, очень невежливо прерывая его болтовню».

Сапожников, застигнутый посреди какого-то рассказа, несколько удивился, но все-таки стал всматриваться в этих господ и сконфузился; оказалось, что он их не знает.

По-видимому, Теребенев перед отъездом в деревню думал наладить связи с оставшимися еще в городе «хорошими людьми» и пытался узнать их адреса. Но от этого замысла Слепцов тут же отказался. Зачеркнув приведенный выше эпизод, он изображает случайное свидание Новикова и Теребенева (Х, Раслянов и Новиков, как видно из черновиков, одно и то же лицо). Разговор Теребенева и Новикова очень важен по содержанию.

Новиков собирается ехать в Америку, потому что тут ему «скверно», а там, по его мнению, можно найти себе «дело». Поездка в Америку для него — то же самое, что паломничество огромного числа русских к Герцену и Огареву в Лондон или «бегство» в Европу «молодой эмиграции».

«Прежде вот так же крепостные бегали в Хиву, а образованные — в Лондон, — говорит друг Новикова Кудрявцев. — Теперь узнали еще одно местечко — Америку, Только это напрасно». Теребенев пережил уже такие настроения и понял, что они не ведут к цели.

«Настоящий человек» не должен уезжать, пока его народ томится под властью угнетателей. Он не испробовал еще всех возможностей к действию; место его — в деревне, так как только там еще можно «начать сначала» «дело» — революцию.

Эта мысль Слепцова выражает одно из самых сокровенных убеждений лучших представителей революционной демократии, в частности, Герцена. Немецкий демократ Шурц, эмигрировавший в Америку, как-то сказал Герцену:

«—Человек <...> который так понимает современную Европу, как вы, должен бросить ее.

— Вы так и поступили, — заметил я <т. е. Герцен. — Л. Е.>.

— Отчего же вы этого не делаете?

— Очень просто: я могу сказать так, как один честный немец прежде меня отвечал

в гордом припадке самобытности — „у меня в Швабии есть свой король“, — у меня в России есть свой народ!»⁴²

Кудрявцев убеждает Новикова, что эмигрировать сейчас безрассудно, нерасчетливо. Бегство за границу оправдано только в том случае, когда за тобой есть «погоня», т. е. полицейское преследование. Но бежать от «долгов, или там от неудач и вообще с горя» (от долга перед народом, от неудачи революции) — это глупость, особенно если эмигрировать надолго и «забегать далеко». В стране уже налицо признаки нового общественного подъема и, если вспыхнет восстание, эмигрант, «забжавший за тридцать земель», не сможет принять в нем деятельное участие. В этом, по-видимому, подспудный смысл разговора.

Словами Кудрявцева заканчивается первоначальная редакция I части романа. Перечитывая написанное, Слепцов, по-видимому, решил подробнее остановиться на том моменте, когда Теребнев надумал вернуться в Россию, и объяснить его возвращение «внутренними, особенно уважительными причинами» (I, 496). Нужно было как можно основательнее мотивировать эту мысль, так как она была центральной по замыслу Слепцова. Может быть, тогда и возникли эпизоды романа, подробно описывающие встречу Теребнева с переселенцами в Гамбурге, которые появились в первопечатном журнальном тексте. Рукописи этих глав не сохранились. Однако теперь, уловив из первоначальной редакции замысел романа, можно понять, почему Слепцов так много внимания уделил переживаниям Теребнева на гамбургской пристани. Именно в этих главах он в завуалированной форме попытался раскрыть мысль о кризисе революционной демократии (далее «идти некуда» — «дошел до края») и о возможном возрождении нового «дела» («опять к печке»).

Ранее задуманная повесть «Хороший человек» в результате добавлений, включений новых эпизодов немалого увеличилась в объеме, тем самым приблизилась к роману. Естественно, что изменение жанра повлекло за собой необходимость дать более подробную биографию главного героя, чего не требовалось по первоначальному замыслу произведения. Можно предположить поэтому, что писание третьей главы журнальной редакции начался именно на этом этапе работы. Возникло изображение детства Теребнева и его заграничного путешествия, для чего частично был использован текст первоначальной редакции.

Передумывая и «перекраивая» роман, как и сообщал Слепцов Некрасову, он решил сделать его более динамичным и для этого перенес в начало эпизод гамбургских раздумий и переживаний Теребнева. Тем самым картины детства и странствий были отодвинуты в следующую главу. Соответственно еще дальше отодвинулось описание Петербурга, в который возвращается Теребнев. Можно предположить, что такова была вторая редакция романа, на которой Слепцов, по его словам, остановился. Целиком она, должно быть, и составляла те пять листов, о которых он писал Некрасову в Карабаху.

Опубликовать же Слепцов решился лишь начало этой редакции, внешне самую «благонамеренную» часть романа. К тому же он постарался замаскировать свои мысли, отнеся действие романа к условной дате 186* г. Основной замысел так усердно был прикрыт всевозможными иносказаниями, что трудно было понять, как будет дальше развиваться действие романа. Характер же главного героя можно было истолковать, как уже сказано выше, почти прямо противоположно. Казалось, что речь идет о человеке, далеком от революционной борьбы (что опять-таки из цензурных соображений постарался подчеркнуть Слепцов), который, скучая от безделья, по доброте душевной собирается улучшать быт своих крестьян. Так и понял роман цензор Лебедев. Но даже в таком «искаленном» виде роман «Хороший человек» вызвал у него серьезные опасения, заставив предположить, что «будущее развитие романа» будет далеко не благонадежным.

Роману, как известно, не суждено было завершиться. Слепцов предполагал в мартовской книжке «Отечественных записок» 1871 г. поместить конец первой части романа. Можно думать, что это была бы глава шестая — описание Петербурга, которая была почти закончена. По-видимому, вскоре после разговора Теребнева, Новикова и Кудрявцева должна была завершиться первая часть романа. Вторая часть, вероят-

но, уже изображала бы жизнь Теребенева в деревне. Но шестая глава никак не удавалась Слепцову. Слишком трудно было в подцензурном романе дать характеристику «опустевшего» в дни реакции Петербурга, показать идейных сообщников Теребенева, обосновать его возвращение «к печке». Приходилось самому «портить» произведение, искусственно затемнять мысли. Конечно, на судьбу романа оказали влияние и резкие отзывы критики, и неблагоприятное сообщение цензора, но решающим фактором было то, что Слепцов просто не мог кончить роман. Рукописи показывают, как боролся писатель сам с собой: все сколько-нибудь резкие места оставались в черновиках, появлялись длинные рассуждения, подставные фразы, роман растягивался и безнадежно портился.

Известно, что Слепцов отрекся от своей статьи «Женское дело», напечатанной в «Женском вестнике», после того как ее неузнаваемо искалечила цензура. То же самое случилось с романом «Хороший человек» — автоцензура настолько изменила роман, что от него оставалось только отказаться. Слепцов так и поступил, прекратив работу над ним. Несомненно, повлияло на такое решение Слепцова и еще одно существенное обстоятельство. Дело в том, что ему самому не было в достаточной степени ясно, куда он приведет своего героя. Оставаясь по своим взглядам убежденным демократом-шестидесятником, Слепцов, однако, смутно представлял себе дальнейшую дорогу русской революционной демократии. Это отразилось в черновиках романа.

Дважды на страницах романа Теребнев задумывается, что же он будет делать в деревне. Ведь «там, дома, надо будет опять начинать сначала», — размышляет он за границей. И наконец, очень отчетливо сознается уже в Петербурге: «Да, только там еще можно что-нибудь сделать. Надо же начать когда-нибудь. По поводу начинания он невольно вспомнил о многом множестве разных своих начинаний и в смущении остановился перед будущим...

— Что я, однако, буду делать там? — в первый раз серьезно подумал он и опять остановился. Мысль его, как упрямая лошадь, отказывалась идти вперед и только пыталась. Как он ни насиловал свое воображение, как ни старался представить себе что-нибудь такое определенное, — ничего такого не представлялось...

Не только Теребнев, но и сам Слепцов, как многие революционные демократы, не мог себе представить реально нового «дела». У них было только сознание, что нужно «начать сначала», ясно было, что начинать необходимо именно в народе. 22 февраля 1864 г. Н. И. Утин писал Огареву, что «народные основы, по-моему, стремление, тяготение в народ, до того присущи молодежи нашей, что об этом лишнее было бы говорить»⁴³.

Однако конкретного представления о том новом «деле», которое ждет их в народе, у демократов 60-х гг. еще не было. По словам Н. И. Утина, молодежь мечтала о «приближении к народным нравам», говорила о необходимости «борьбы в разных ее видах» и кончала тем, что пополняла собой ряды народных учителей⁴⁴.

Как начинать в ту переломную эпоху — было еще непонятно. Мысль самого Слепцова, а не только Теребенева «блуждала в догадках», это он чувствовал себя на «рубеже, отделяющем прошлое от будущего». И в этом нельзя винить Слепцова. Сама жизнь не давала в ту пору ответа на вопрос о действительных методах борьбы. Массовое хождение в народ началось только через три года после опубликования романа. Но и оно не разрешило вопроса об освобождении народа: «революционное движение в России было (...) слабо до ничтожества, а революционного класса среди угнетенных масс вовсе еще не было»⁴⁵.

Роман Слепцова «Хороший человек» отразил и силу и слабость теории демократов-шестидесятников, сконцентрировав все их сомнения, противоречия, искания и отразив горячую веру в народ, в его силы, в его победу.

Такова судьба большого и интересного романа о путях развития русской революционной демократии. Подобно повести Щедрина «Тихое пристанище», «Хороший человек» Слепцова остался незавершенным, и только по рукописи, впервые публикуемой сейчас, мы можем частично представить себе первоначальный замысел этого несостоявшегося крупного произведения Слепцова.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Щедрин, т. XVIII, стр. 218.
- ² Письмо Н. А. Некрасова к П. В. Анненкову от 12 апреля 1870 г. — Н. А. Некрасов. Собр. соч., т. XI. М., 1949, стр. 170.
- ³ Письмо Н. А. Серно-Соловьевича к Герцену и Огареву от первой половины 1864 г. — «Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 560.
- ⁴ Щедрин, т. IV, стр. 316—317.
- ⁵ «Лит. наследство», т. 51-52, 1949, стр. 495.
- ⁶ Письмо Слепцова к Некрасову от конца февраля 1871 г. — Там же, стр. 496.
- ⁷ В. А. Слепцов. (Некролог). — «Отечественные записки», 1878, № 4, стр. 348.
- ⁸ «Журналистика». — «С.-Петербургские ведомости», 1871, № 65, от 6 марта.
- ⁹ «Журналистика». — «Отечественные записки», № 1 и 2. — «Заря», 1871, № 3, стр. 19.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ «Иллюстрированная газета», 1871, № 11, от 18 марта, стр. 170.
- ¹² К. И. Чуковский. Предисловие к роману «Хороший человек». — В кн.: В. А. Слепцов. Сочинения, т. I. М. — Л., 1932, стр. 494—495.
- ¹³ Донесение цензора Лебедева 17 февраля 1871 г. о февральской книжке «Отечественных записок». — ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 60, лл. 121—122.
- ¹⁴ В. А. Слепцов. — «История русской литературы», т. VIII, ч. 2. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 582.
- ¹⁵ В. И. Кельсиев. Исповедь. — «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 344.
- ¹⁶ А. А. Серно-Соловьевич. — «Народное дело» (Женева), 1869, № 7-9, стр. 112.
- ¹⁷ Б. П. Козьмин. Русская секция Интернационала. М., 1957, стр. 43.
- ¹⁸ См. в книге М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. М., 1957, стр. 126.
- ¹⁹ Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. М. — Л., 1934, стр. 329.
- ²⁰ А. В. Никитенко. Дневник, т. II. М., 1955, стр. 328.
- ²¹ Письмо Герцена к А. А. Чумикову от 9 августа 1851 г. — А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XXIV. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 199—200.
- ²² В. И. Кельсиев. Исповедь. — «Лит. наследство», т. 41-42, стр. 278.
- ²³ Комментарий К. И. Чуковского к роману «Хороший человек» — II, 417.
- ²⁴ Щедрин, т. XIV, стр. 294, 336.
- ²⁵ Там же, т. XIX, стр. 249.
- ²⁶ М. П. Сажин. Воспоминания. 1860—1880 гг. М., 1925, стр. 19.
- ²⁷ В. И. Кельсиев. Исповедь. — «Лит. наследство», т. 41-42, стр. 296.
- ²⁸ В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 88.
- ²⁹ «Письма к тетеньке». — Щедрин, т. XIV, стр. 336.
- ³⁰ О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х годов. Пг., 1924, стр. 17.
- ³¹ «Московские ведомости», 1868, № 58, от 16 марта.
- ³² «Весть», 1868, № 30, от 11 марта («Внутренние известия»).
- ³³ Ср. у А. Я. Панаевой: «Большого Слепцова навещали немногие из его прежних многочисленных знакомых. Впрочем, из прежних его приятелей многие не по своей воле уехали на жительство очень далеко из Петербурга, а те, которые находились в Петербурге, до смешного боялись встречаться со Слепцовым, с которым несколько лет тому назад пропагандировали женский вопрос. Они воображали, что знакомство с бывшим организатором коммуны может скомпрометировать их чиновную карьеру...» (Воспоминания. М., 1956, стр. 347).
- ³⁴ «Базаров». — Д. И. Писарев. Избр. соч. в двух томах, т. I. М., 1935, стр. 247.
- ³⁵ И. С. Тургенев. Собр. соч., т. III. М., 1954, стр. 232.
- ³⁶ «Утро. Литературный сборник». — Добролюбов, т. I, стр. 411. О Колосине и его отношении к Добролюбову — см. статью К. И. Чуковского «История одного павлика». — «Лит. газета», 1961, № 142, от 30 ноября.
- ³⁷ «Архив села Караби». М., 1916, стр. 224—225.
- ³⁸ С. С. Татищев. Император Александр II, т. II. СПб., 1903, стр. 11.
- ³⁹ П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. М., 1934, стр. 277.
- ⁴⁰ История России в XIX веке. Сборник. М., изд. А. и И. Гранат, (б. г.), т. V, ч. 3, стр. 108.
- ⁴¹ Письмо Н. П. Огарева к А. И. Герцену от 22 декабря 1869 г. — «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 571.
- ⁴² А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XI. М., 1957, стр. 53—54.
- ⁴³ «Лит. наследство», т. 62, стр. 643.
- ⁴⁴ Там же, стр. 643—644. — См. также высказывание Герцена в последней части «Былого и дум»: «Мы ближе к земле, мы ниже стоим, т. е. тверже, плуг глубже взрывается, работа не так казиста, чернее — может, оттого, что это в самом деле работа» (Герцен, т. XI, стр. 444).
- ⁴⁵ В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 94.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК*

П О В Е С Т Ь

I

Петербургское лето только что начиналось, но, несмотря на то, в городе было уже достаточно пыльно, душно и скучно; чувствовалась надобность в дожде, а дождя не было; в воздухе стоял какой-то чад, от которого разбаливалась голова и становилось противно жить на свете.

Часу в пятом по Невскому проспекту, от Аничкова моста к Гостиному двору, шел молодой человек, среднего роста, белокурый, с бородкой. На нем было светлое летнее пальто, маленькая измятая шелковая шляпа и в руках — зонтик. Вид он имел во всех отношениях совершенно приличный, но в то же время как будто сконфуженный и недовольный. Шел он

* В Пушкинском доме хранятся три рукописи Слепцова, относящиеся к его работе над *первоначальной редакцией* «повести» или, впоследствии, «романа» «Хороший человек». Там же хранятся и наброски, относящиеся к выработке текста главы VI, которая должна была продолжать публикацию первых пяти глав в «Отечественных записках» (1871, № 2).

Рукописи первоначальной редакции романа разнородны: неполная черновая карандашная рукопись, в середине которой не сохранилось нескольких листов, и два отрывка белой рукописи, отразивших в отработанном виде части *той же* черновой карандашной рукописи. Каждая из этих рукописей в отдельности не содержит полного текста начальной редакции первой части романа. Мы устанавливаем этот текст — по необходимости фрагментарно — в результате сопоставления всех трех рукописей.

Первая беловая рукопись (от слов: «Петербургское лето только что начиналось...» до слов: «...эти болячки были четыре года тому назад» — Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 45—48 об.) имеет перед текстом заглавие: «Хороший человек. Повесть. I». Сравнивая этот текст с черновой карандашной рукописью, мы убеждаемся, что он почти целиком перебелен с этой рукописи. Незначительные изменения, которые внесены в беловой текст (первый абзац и еще несколько фраз), являются стилистической правкой и не отражают каких-либо изменений сюжетной линии.

Черновая карандашная рукопись заглавия не имеет и, должно быть, характеризует самый ранний этап работы над повестью. В рукописи, как сказано, отсутствует несколько листов, вследствие чего она распадается на две части: а) от слов: «Часу в пятом по Невскому проспекту...» до слов: «Куда бы он ни приехал, на другой...» (оборвано) и б) от слов: «В трактире по случаю летнего времени...» до слов: «например, поезжай в Новгород» (Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 4—31 об.). Текст записан на листах вензельной бумаги (№ 4, Говарда) и сложен в тетрадь, пронумерованную рукой Слепцова («№ V»). Рукопись довольно трудна для чтения. Мы не воспроизводим вариантов, так как они отражают мелкую стилистическую правку и не вносят ничего принципиально нового в понимание идейного замысла и художественного своеобразия произведения. В публикуемый текст мы вводим лишь два отрывка, полагая, что они были зачеркнуты Слепцовым в черновой рукописи из цензурных опасений (об X — Раслянове).

Второй фрагмент беловой рукописи начинается словами: «На другой день по приезде в Петербург, часу в четвертом пополудни, Теревнев шел по Невскому...» до слов: «проглатывал несколько картофелин в один раз и запивал вином». Первой фразе белового текста соответствует в черновой рукописи следующая: «Занятый размышлениями о том, почему все это так случилось, Теревнев шел по Невскому...» (Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 50—60). В остальном второй беловой фрагмент полностью повторяет черновую рукопись, так как мелкие расхождения между ними являются исправлением стилистических погрешностей и длиннот. Этот фрагмент дает возможность уничтожить разрыв в черновой рукописи, поскольку его последняя фраза целиком совпадает с соответствующей фразой чернового текста.

Следует также отметить, что текст беловой рукописи носит на себе следы последующей карандашной правки (тоже стилистической).

В настоящей публикации мы воспроизводим оба фрагмента беловой рукописи, восполняя пробел между ними соответствующими частями черновой рукописи. Части черновой карандашной рукописи и двух фрагментов беловой в публикации отделены друг от друга чертой. Публикация начинается с беловой рукописи.

Помимо этого, мы помещаем в приложении четыре наброска VI главы, которой Слепцов намеревался продолжить печатание романа в «Отечественных записках», где появились первые пять глав произведения.— Л. Е.

не так, как обыкновенно ходят по Невскому; он не шел, а скорее прохаживался, заложив руки назад, иногда останавливался и с особенным вниманием всматривался в такие предметы, которые для петербургского жителя не представляют ни малейшего интереса. Судя по этому, можно было принять его или за человека, несколько лет просидевшего в тюрьме, или за приезжего. Он, действительно, был приезжий. В то лето как-то особенно много русских возвращалось из-за границы, точно их вдруг погнали оттуда. В числе прочих вернулся и описанный сейчас молодой человек, кандидат Московского университета, из дворян, Андрей Николаевич Терехнев.

Четвертый день уже бродил он по городу безо всякой определенной цели, все собирался уехать в деревню и все не уезжал. В Петербурге не было у него никаких дел, никаких таких интересных знакомых, с которыми не мешало бы повидаться; а между тем что-то удерживало его: он все еще как будто ждал чего-то, [что-то такое нужно было] узнать, в чем-то удостовериться; хотя в то же время он очень хорошо понимал, что ничего больше не будет, узнавать нечего и оставаться здесь незачем. А сам все жил, все шло по улицам, все рассматривал. То, что попадалось ему на глаза, большую часть было ему давным-давно известно и переизвестно, изредка только наворачивалось что-то как будто новое, тем не менее он ежеминутно и почти на каждом шагу находил вовсе не то, что надеялся найти, и, напротив, не находил того, что почему-то должен был найти непременно. Прежде всего он нашел, что город ужасно опустел, что даже на главных улицах как-то мало людей, мало движения, дома как будто стали гораздо меньше, магазины обеднели и превратились в какие-то довольно жалкие лавчонки и все вообще имеет такой неопрятный, запущенный вид. Лица, в особенности у мужчин, стали какие-то широкие, точно расплылись; костюмы на всех, даже и на женщинах, такие неизящные, вообще странные. На Невском прежде, четыре года тому назад, было так шумно, столько было езды, беготни, суеты; а теперь — напротив, тишина необыкновенная; бродят какие-то сонные люди, точно осенние мухи по стеклу, и только мальчишки, продающие газеты, сколько-нибудь оживляют эту мертвую картину, приставая к прохожим и от нечего делать затевая между собою драку, да изредка проскачет куда-то пожарная команда. Но чем больше всматривался Терехнев, чем больше глаз его начинал снова привыкать к позабытым картинам, тем больше убеждался он в том, что если и произошла какая-нибудь перемена в это время, которое он прожил за границею, то эта перемена случилась в нем самом, в Петербурге же ровно ничего не переменялось. И действительно, мало-помалу он начал замечать, что ему беспрестанно попадались знакомые лица; даже нищие те же самые, с теми же вывернутыми членами, с теми же болячками и при том на тех же самых местах, на которых эти болячки были четыре года тому назад *.

Так же барыни рыскали с покупками по магазинам, так же, как четыре года тому назад, разносчики в Гостином дворе просили поддержать коммерцию **. Одним словом, все осталось в том же виде, но именно это самое, именно то, что все осталось в прежнем виде и в то же время как будто все изменилось, это-то и удивляло его. Больше всего удивляли мелочи, эти бесчисленные мелочи, на которые обыкновенно не обращаешь внимания, пока живешь, окруженный ими, но которые совершенно забываются, как только уедешь из города.

* Далее публикуем текст черновой рукописи (лл. 7—20).

** Перед этой фразой в черновой рукописи читаем фразу, перенесенную в беловой рукописи в другое место: Даже нищие те же самые, с теми же вывернутыми ногами, с теми же болячками.

Теперь эти мелочи на каждом шагу бросались в глаза и напоминали о себе. И как это странно, в самом деле, что прежде он их не замечал, а между тем он отлично помнит вот этого самого нищего, у него и тогда была совершенно такая дыра на коленке, и картуз тот же, и шарманка та же самая. В этом магазине, на этом самом окне, всегда стояла эта трубка, и Терebeneв всегда думал, проходя мимо, что должно быть ее никто никогда не купит, потому что кому же охота курить из такой дурацкой трубки.



АПРАКСИН ДВОР В ПЕТЕРБУРГЕ

Картина маслом неизвестного художника, 1850-е гг.

Исторический музей, Москва

Так она тут и осталась. И этот господин с испуганным лицом. Терebeneв всегда встречал его здесь и даже узнавал его сзади. И теперь узнал, он все так же ходит и лицо у него совершенно такое же, как и было, испуганное.

«А между тем я как-то вовсе этого не ожидал, — думал Терebeneв. — Почему же, однако, я не ожидал, я должен был ожидать, что увижу все это и что все будет именно так, а не иначе. А главное, с какой стати, однако, этот вздор так поражает меня, — думал он, осматриваясь кругом. — Чёрт его возьми совсем». И тем не менее все продолжал поражаться. Надо заметить, что поражения начались с самого приезда, с первой же минуты, как только он вышел из вокзала Варшавской железной дороги и сел на извозчика. Причина их, как это само собой разумеется, лежала главным образом в нем самом.

Первый предмет, поразивший его, была женщина, проходившая в это время по Обводному каналу. Женщина была в изорванном ситцевом платье, босиком, грязная и растрепанная, она шла по набережной и громко плакала, продолжая кого-то ругать, оглядываясь и стараясь в то же время повязать на голову платок. Платок сносило ветром, волосы

выбивались, но она все старалась их подпрятать и все плакала и все ругалась. Мужики с барок что-то ей кричали и смеялись над ней. Женщина останавливалась, сердито плевала на них в воду и опять принималась повязывать на себя платок.

— А ведь должно быть кто-нибудь побил ее, — подумал Теребнев, и тут вдруг вспомнил, что вот уже четыре года он не только не видал битой женщины, но даже как-то ему и думать об этом не приходилось. Потом вспомнил, сколько раз случалось ему прежде в России присутствовать при подобных сценах и с каким позорным равнодушием он всегда проходил мимо. И ему сделалось как-то ужасно стыдно и за себя и за Россию и захотелось поскорей, сейчас же, с первой же минуты начать действовать не по-русски, а так, как всякий обязан действовать — по-человечески. Он быстро соскочил с извозчика, бросил свой зонтик на дрожки и кинулся к плачущей женщине.

Извозчик не вдруг остановил лошадь, поэтому он зацепил за какой-то гвоздь, изорвал немного пальто, а зонтик полетел на мостовую. Впрочем, он на это не обратил никакого внимания, — даже как-то обрадовался, что не обратил внимания, и, спотыкаясь, догнал женщину. Она остановилась и с удивлением посмотрела на него. Он почти задыхаясь спросил ее:

— Что с вами случилось? Вас кто-нибудь обидел?

Женщина продолжала молча смотреть ему в лицо, потом сняла с головы платок, надела на плечи. Он опять повторил:

— Верно вас обидели?

— Ты еще что? Тебе чего нужно, — вдруг закричала она на него, сорвала с плеч платок и махнула им в лицо Теребнева так, что кончиком задела его по шляпе. В это время мужики, глядевшие на эту сцену с барки, захохотали.

Теребнев растерялся и стал поправлять свою шляпу. Мужики что-то кричали и даже стали свистеть. Между смеющимися голосами один какой-то залился тоненьким таким звонким смехом, закашлялся и опять залился на всю канаву, баба глядела, глядела и вдруг тоже захохотала. Теребнев быстро повернулся и, не оглядываясь, пошел назад, не смея взглянуть в ту сторону, откуда слышался мужичий смех. Женщина тоже что-то ему закричала вслед. Он поднял зонтик и, не глядя на извозчика, стал усаживаться на дрожки. Извозчик только крикнул и ударил по лошади.

Сконфуженный и расстроенный таким началом Теребнев молчал всю дорогу вплоть до Зн(аменской) гостиницы. Смотрел по сторонам и притворялся равнодушным, но ему было ужасно стыдно извозчика. Извозчик тоже молчал и как-то задумчиво дергал вожжи.

Когда стали подъезжать к гостинице, извозчик, не оглядываясь, спросил:

— К этому подъезду?

— Да, да, к этому, — торопливо сказал Теребнев, поскорей взял свои вещи, все еще не глядя в лицо извозчику, поскорей отдал ему деньги и, входя в двери, ласковым голосом спросил у швейцара:

— Есть номера?

— Есть, — важно процедил сквозь зубы швейцар и показал ему пальцем на лестницу.

Понятно, что после такого дебюта Петербург не должен был произвести на него приятного впечатления. Притом же и самое возвращение Теребнева на родину было с его стороны делом не совсем добровольным. Это было своего рода бегство. За границу попал он так, как обыкновенно попадают туда русские дворяне, т. е. и сам не знал, наверное, как это случилось. Помнит он, да и то очень смутно, только, что это вышло совсем

неожиданно даже для него самого. Помнит он, что жил он в Балашовском уезде и ничего не чувствовал, не понимал; потом как-то так случилось, что он вдруг все понял и почувствовал неодолимое желание бежать, бежать, бежать куда-то туда. И побежал. Точно будто зарядили пушку, всунули его туда и выпалили. Помнит он, что он летел оттуда, все летел, все летел до тех пор, пока не ударился лбом обо что-то твердое. Очнулся и видит, что это стена. Отсюда его рикошетом понесло влево и несло таким манером вплоть до самого Парижа. Тут уж он окончательно пришел в себя, протер глаза и понял, наконец, что, собственно говоря, он теперь только родился и увидел свет. Вся прежняя жизнь в отечестве представилась ему каким-то бессмысленным, неразумным прозябанием, похожим на состояние младенца в утробе матери. Всех сил этой матери хватило на один только растительный процесс, но воспитать, сделать из младенца человека она была не в силах.

Парижское воспитание Теребенева шло обыкновенным порядком: вкусив от древа познания добра и зла, он прежде всего заметил, что он наг, и устыдился наготы своей. Затем оделся, как следует европейцу, и начал жить так, как обыкновенно живут русские за границей, т. е. вдруг вообразил себе, что он настоящий человек, член общечеловеческой семьи, что он имеет полное право жить, где ему вздумается и заниматься, чем захочется. Надо заметить, что занесло его в Европу в самое неблагоприятное время, в то время, когда русских везде преследовали, смеялись над ними, но это нисколько его не конфузило, напротив, ему даже нравилось быть до известной степени гонимым, и если случалось, что и на его долю попадали кое-какие шпильки, то он принимал их как должное, снисходительно улыбаясь и в то же время торжествуя в душе и вполне довольствуясь сознанием того, что эти шпильки попадают в него по недоразумению, только потому, что нападающим недостаточно известен его политический образ мыслей. Он чувствовал себя сильным, правым и свободным и все ездил, все ездил. Изучал рабочий вопрос, посещал всевозможные съезды, слушал лекции, принимал участие в разных сходках и демонстрациях, жил в Женеве, ездил на поклонение Мадзини, одним словом, жил [смелой], полной, широкой жизнью, которой могут жить только молодые русские люди, вырвавшиеся на волю и нисколько не думающие о том, что этой веселой езде придет же когда-нибудь конец, что ехать больше будет некуда и что, как ты там ни вертись, но все-таки рано или поздно надо будет вернуться домой. И там, дома, надо будет опять начинать сначала.

А между тем время шло: события сменялись событиями, и в политических мнениях Европы мало-помалу подготовлялся переворот в пользу России. Позор, густым туманом покрывший русское имя, понемногу стал проясняться, на русских начали смотреть снисходительнее, потом и совсем простили, наконец, русское имя было восстановлено вполне, наконец, русские снова стали гордиться своим именем. Но по мере того, как занималась заря на востоке и русское имя, озаряемое лучами военной славы, с честью выходило из мрака незаслуженного позора, в образе мыслей Теребенева тоже совершался переворот.

Он все больше и больше утрачивал прежнюю бодрость духа и свободу движений, наконец, совершенно лишился храбрости и захирел, затосковал, законфузился. Сидел в Берне, не видался с русскими, не читал газет и с каждым днем, видимо, разочаровывался во всем и главным образом в возможности возрождения. Присмиривший, бродил он по берегу озера, размышляя о том, какую коварную и подлую штуку сыграла с ним Европа и какую глупую роль заставляла она его играть целые четыре года сряду. В последнее время <он>, наконец, дошел до того, <что> начал скрывать

свою национальность и, когда слава русского имени озарила Европу и император Наполеон в тронной речи отозвался с похвалою о предпринимаемых в России реформах, Теребенев уже никуда не годился: он совсем упал духом и сконфузился до такой степени, что когда за общим столом в гостинице один пьяный немец, живший прежде в России, предложил было ему выпить русский брудершафт, Теребенев чуть не заплакал с отчаяния, встал из-за стола и побежал на станцию брать билет в Гамбург, чтобы сейчас же ехать в Америку. В Гамбурге он прожил два дня, ходил на пристань, смотрел, как отправляются в Нью-Йорк европейские переселенцы, думал, думал и надумал — вернуться в Россию.

На обратном пути в Петербург, сидя в вагоне, обдумывал он свое положение (что он в некотором смысле человек, окончивший курс), припоминал прожитое: детство, деревню, Москву, потом Петербург, потом эту заграничную жизнь и вдруг почему-то вспомнил, как его учили в детстве танцевать. Представилось ему, что стоит он в зале у печки, с вывернутыми в третью позицию ногами; мать сидит у окна и с напряженным вниманием следит за успехами сына. Ей это кажется очень важным делом, лицо у нее такое серьезное, озабоченное; она даже бросила вязание красного шерстяного шарфа, торопливо воткнула деревянные спицы в клубок и положила на стол. Она беспрестанно делает ему замечания: «Андрюша, не сгибай колен, стой прямо, зачем ты голову на бок держишь?» Из коридора смотрят горничные и тоже с большим вниманием замечают каждое его движение. Впереди всех стоит нянька и, подперши щеку рукою, с умилением смотрит на Андрюшу. Время от времени она даже вздыхает и приговаривает чуть не со слезами: «Ах, голубчик ты мой», — и вдруг накидывается на горничных, которые никак не могут стоять смирно и всё шепчутся и толкают друг друга.

— Да, тите вы, беспутные! — грозит она им. — Уйдите вон отсюда!

Из передней выглядывают лакеи, а у притолоки старый буфетчик Орест, оставив одну ногу, заложив руки за спину и наморщив седые брови, строго смотрит на барчонка. Он подолгу живал в Москве и знает, как господ учат танцевать. По лицу его видно, что он тоже очень заинтересован настоящим случаем, но старается показать молодым деревенским лакеям, что для него тут ровно ничего нет такого особенно удивительного. Он даже позволяет себе изредка делать замечания вполголоса, но так, чтобы молодые лакеи слышали:

— Шею-то зачем вытянул, точно гусь?

Андрюша, действительно, не только вытянул шею, но и весь вытянулся. Он в самом напряженном состоянии, он стоит совершенно неподвижно, с широко раскрытыми глазами, уставил их куда-то вперед и ни на кого не глядит. Он чувствует, что все на него смотрят, все следят за ним, и конфузно ему, и хочется как можно лучше отличаться, но в то же время ему кажется, что в ногах у него как будто вставлены какие-то пружины и что вот, чуть только пошевельнешься — сейчас эти пружины сами начнут действовать, и ноги уйдут, чёрт знает куда. При том же танцевальный учитель, точно бес, вертится перед ним и не дает ему покоя: беспрестанно обдергивает на нем куртку, вывертывает ему локти, прикладывает свою ладонь к его спине, а другой рукой берет за подбородок и двумя пальцами деликатно осаживает его назад. А тут еще отец, в халате и с трубкой, вышел из кабинета в залу и остановился среди комнаты — посмотреть. Позади его на цыпочках, по стенке, пробирается в переднюю приказчик, приходивший за приказаниями; но тоже увлеченный общим любопытством, останавливается у дверей и присоединяется к прочим зрителям. Хотя Андрюша старается ни на кого не глядеть, но ему все-таки видно, что из коридора еще кто-то пробирается вперед и приподымается повыше над головами горничных, а в окно со двора заглядывает какая-то баба.

— Посмотрим, посмотрим,— говорит отец и, запахнувши халат, уходит немного в сторону.— Посмотрим, как-то ты действуешь. Ну, начинай!

Наступает решительная минута: учитель отскакивает в сторону и одобрительно вскрикивает:

— Извольте начинать! Раз — два — три, раз — два — три.

Андрюша делает отчаянное усилие, ноги срываются с места и сами начинают выделять какие-то вензеля по комнате.

— Раз — два — три, раз — два — три! — все громче и громче вскрикивает учитель, забегая со всех сторон и хлопая в ладоши.

— Un, deux, trois..., — подпекает вполголоса мать, тоже прихлопывая и в такт покачиваясь вперед. Вдруг одна нога у Андрюши подвертывается, заплетается за другую, Андрюша сбивается с такту и останавливается.

— Что ж ты? — вскрикивает отец.

Андрюша старается опять попасть в такт, шмыгает ногой по полу и при этом даже загибает голову на бок.

— Ну, продолжай же, продолжай! — волнуясь говорит ему мать.— Не останавливайся!

— Не извольте останавливаться,— потягивая его за руку, говорит учитель.

Но Андрюша уж остановился, потому что ноги у него вдруг опять сделались железные. Он глупо улыбается, в смущении перебирает пальцами.

— Эх, какой ты, брат,— с укором говорит отец.— Ну, ступай опять к печке, начинай сначала.



БЕЗРАБОТНЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Гравюра с рисунка Л. П. Лебедева, 1876 г.

Исторический музей, Москва

— Извольте становиться к печке, — говорит учитель.

Сконфуженный, опустив голову, Андрияша в сопровождении учителя возвращается к печке. Он слышит, как вся эта публика зашевелилась, как они начинают шептаться, некоторые, обманутые в своих ожиданиях, уходят, приказчик тоже потихоньку ретируется в переднюю; отец, махнув рукой, удаляется в кабинет.

— Господи, — думает Андрияша, — да что ж это такое?..

И вдруг является у него прилив какой-то отчаянной энергии, ему хочется остановить их сейчас же, поскорей загладить этот позор. У него есть еще надежда отличиться, а они между тем уходят один за другим, все уходят.

— Пойдите, погодите! — хочется закричать ему. — Я сейчас покажу вам, как я умею танцевать...

Но уже поздно, они все разошлись, остается один ненавистный учитель.

— Извольте становиться к печке. Начинайте сначала, — со вздохом говорит он Андрияше.

Прижавшись в угол вагона, ночью, сидел Теребенев с закрытыми глазами, припоминая эту сцену со всеми мельчайшими подробностями, и переживал ее всю с начала до конца. Испытывал он теперь совершенно так же и с такою силою, как пятнадцать лет тому назад, как будто он только-то минуту осрамился в танцах и возвращается к печке для того, чтобы опять начинать сначала.

— Да теперь-то, что же я делаю? Зачем я еду в Россию? — с ужасом вдруг подумал он и широко открыл глаза и посмотрел кругом. В вагоне в разнообразных позах спят свернувшиеся пассажиры, фонари догорают, дорога гремит.

— Это я возвращаюсь к печке, — уже совсем очнувшись, понял он вдруг, и это до такой степени поразило его, что он даже вслух произнес эти слова и еще раз повторил сам себе: «ну да, — к печке».

Теперь его положение стало ему совершенно ясно: деревня, Москва, Петербург, Европа и опять назад, опять туда, в деревню, да, именно в деревню, потому что печка не в Петербурге, даже не в Москве, она там, в Балашовском уезде, в деревенском доме стоит на том же самом месте, где стояла пятнадцать лет тому назад; и для того, чтобы начать сначала, необходимо вернуться опять туда же, к ней, к той же самой печке, стать в третью позицию и опять: раз, два, три, раз, два, три и т. д. И в то же время почувствовал, что тоска, точь в точь такая же противная грызущая тоска, которую он чувствовал в детстве, тоска, похожая на тошноту, подступает ему к горлу и потихоньку начинает душить его.

Петербург сам по себе не представлял Теребеневу ровно никакого интереса. Здесь он когда-то учился жить, получил несколько сильных уроков жизни, узнал все, что ему нужно было узнать, и затем в свое время бросил этот город так же спокойно, равнодушно, как бросает школьник истрепанную, зазубренную в клочья арифметику с тем, чтобы приняться за новую и даже совсем еще не разрезанную геометрию.

Если равнодушно расстался Теребенев с Петербургом, уехав за границу, то тем более равнодушно возвращался в него теперь, после такой неудачной поездки. Он даже вовсе не хотел останавливаться в Петербурге, но зажился в нем потому только, что нужно было купить кое-что для деревни, запастись книгами и подписаться на журналы. Перебирая в памяти разных своих петербургских знакомых, он нашел только одного человека, с которым, пожалуй, не прочь был бы повидаться, но только не прочь; самому же искать этой встречи ему не хотелось. И, как нарочно, попадались на улице всё такие люди, от которых он или старался скрыться в ближайшие магазины, или просто отворачивался. Ему неприятно

было встречаться со своими знакомыми еще и потому, что новости, сообщаемые ими, были всё такого рода, что лучше бы их вовсе не слышать. Так, например, оказалось, что Петербург в последнее время действительно опустел, что мало-мальски порядочные люди один за другим куда-то исчезают, точно их ветром сносит; в то же время, как это и должно быть, общество, видимо, начинает пошлеть: литература в упадке, к нравственным интересам замечается охлаждение, а вместо того на первый план выступает спекуляция и жажда грубых наслаждений. Общественные дела как будто процветают, но, в сущности, все сводится к одному: к личной и по возможности скорой наживе, беспрестанно являются новые предприятия, со всех сторон наезжают всякого рода прожектеры и спекуляторы с предложениями своих услуг, с открытием нового суда вдруг расплодилось несметное количество дельцов, одержимых страстию хождения по делам, стремящихся во что бы то ни стало водворять в частных делах порядок; денег ни у кого нет, и в то же время беспрестанно...*

На другой день по приезде в Петербург, часу в четвертом пополудни, Теребнев шел по Невскому, глядя в землю, и носом к носу столкнулся с одним господином, с которым менее всего желал бы встретиться в Петербурге. Он знал его за границу, и там еще этот господин своею пустотою и навязчивостью надоел ему до смерти. Отвязаться от него, если он пристанет, было трудно. Теребнев знал это очень хорошо и потому с особенным неудовольствием заметил, что господин стоит перед ним и дружески протягивает к нему обе руки. Скрыться было некуда — и притом уже поздно.

— D'ou venez vous? ** Какими судьбами? каким ветром? — запел он, весело и радушно обнимая Теребнева за плечи.

— Из Швейцарии, — отвечал Теребнев и нетерпеливо зашевелил плечами, освобождаясь от непрошенных объятий.

— Ну, как? как? что? надолго ли? что наши? — приставал между тем господин и, взяв Теребнева под руку, потащил его дальше.

Фамилия этого господина была Сапожников, но между русскими за границей он был более известен под именем *нашего собственного корреспондента*. Кто дал ему эту кличку, — неизвестно, но иначе его не называли, даже в глаза; многие вовсе не знали его фамилии и, упоминая о нем, говорили: «вот этот, как его — наш собственный корреспондент». Прозвище это дали ему на том основании, что он, проживая в Париже, посылал в одну русскую газету корреспонденции, которые печатались под таким заглавием: *«Письма из Парижа (от нашего собственного корреспондента)»*. Кроме корреспонденций, Сапожников занимался чем придется: давал уроки, жил для компании, исполнял поручения, переводил все, что угодно, с четырех языков на русский и с русского на все четыре языка обратно; наконец, когда не было никакой работы, просто терся около богатых соотечественников, а иногда и около бедных, если под рукой не оказывалось богатых. И нельзя сказать, чтобы его очень избегали. Впрочем, избежать такого человека, как Сапожников, было довольно трудно: он обладал удивительною способностью быстро осваиваться во всяком месте, во всяком положении и ужасно легко влезать в душу. Но больше всего и охотнее всего он занимался тем, что говорил: он даже промышлял этим и довольно успешно.

* Далее публикуем текст беловой рукописи (лл. 50—60). В черновой рукописи фраза недописана. На обороте листа черновой текст продолжается со слов: Занятый размышлениями о том, почему все это так случилось, Теребнев шел по Невскому.

** Откуда вы? (франц.).

Сапожников по натуре был комиссионер: куда бы он ни приехал, на другой же день он превращался в местного жителя; проникался местными интересами, интересовался местными новостями и кончал обыкновенно тем, что посвящал в них приезжающих. Желали они этого, или нет, ему было все равно; он являлся, знакомился и предлагал свои услуги: водил по городу, показывал разные редкости, нанимал квартиры, давал наставления, где следует обедать, где покупать сигары и т. д. И за все эти хлопоты довольствовался самым скудным вознаграждением в виде обеда, чая, стакана кофе, при случае он занимал рубля два-три, не более. Иногда он находил какого-нибудь больного старика и в качестве компаньона уезжал с ним куда-нибудь на воды, на водах знакомился с каким-нибудь семейством, пристраивался в должности учителя и таким образом путешествовал далее. В последнее время он жил во Флоренции, очень нуждался и дошел, наконец, до того, что вынужден был взять на себя одно несколько даже щекотливое поручение, а именно: он взялся провожать в Россию одну графиню. Путешествие это он находил не очень привлекательным, главным образом потому, что разговаривать с графиней не было никакой возможности, по той причине, что графиня была мертвая. Доставив тело ее в Россию и получив за это очень немного, Сапожников застрял в Петербурге надолго и наконец совсем остался. Но во время своих многолетних странствий по Европе он до такой степени привык к роли путешественника, что и теперь, на родине, никак не мог избрать себе другого, более прочного положения. Спустя два года по приезде в Петербург, он все еще имел вид человека, только что откуда-то приехавшего и опять в скором времени куда-то уезжающего: на нем был тот же бархатный пиджак, в котором он лазил по горам Швейцарии, та же маленькая шелковая шляпа и тот же плед, в который он умел драпироваться на разные манеры и из которого зимою делал даже что-то вроде шинели. В Петербурге он продолжал вести парижский образ жизни: жил в *appartements meubles**, в известный час гулял, заходил в Пассаж, пил кофе, читал газеты, потом покупал себе одну сигару и садился у окна. Существование его в Петербурге было самое ненадежное, но он этим, кажется, вовсе не тяготился. Обыкновенно, выходя из дому, он не имел ни малейшего понятия о том, что ему придется есть и что он будет делать, и непременно встречал на улице какого-нибудь знакомого, заговаривал с ним и незаметным образом опутывал его разговором и разными услугами до такой степени, что знакомый неизбежно должен был накормить его. Если знакомый шел покупать что-нибудь, Сапожников провожал его, ходил по магазинам, носил за ним покупки, торговался и спорил с купцами. Если знакомый шел домой, и он под предлогом неоконченного разговора заходил к нему в гости. Даже если знакомый сам шел к кому-нибудь в гости, Сапожников с этим не стеснялся и просил его представить в дом и таким образом заводил новое знакомство, по возможности оставался обедать и т. д. Кроме того, он во всякое время был готов ехать с кем угодно и куда угодно. Ему это было решительно все равно, только бы ехать.

— Путешествие — это моя страсть. *C'est ma passion*, — обыкновенно говорил он. — *Je suis toujours en voyage, comme le juif ferrant* **.

И действительно, он был несколько похож на незаконнорожденного еврея, хотя, в сущности, происходил от одного обедневшего хвалынского помещика и воспитание получил чисто дворянское.

Так вот этот самый Сапожников, овладев Теребеновым, увлекал его по Невскому и, пользуясь его беспомощным положением, начал уже посвящать его в интересы дня. Как ни старался Теребенов отделаться от

* меблированных комнатах (франц.).

** Это моя страсть... Я всегда в пути, как вечный жид (франц.).

НИЩИЕ

Рисунок Н. А. Ярошенко (фрагмент),
1878 г.

Русский музей, Ленинград



этих интересов и ускользнуть куда-нибудь от свежих новостей, — все было напрасно: Сапожников, не замечая ничего, с жаром объяснял ему, что теперь, наконец, наступила решительная минута действовать, «*par ce que Катков, voyez vous, — говорил он на ухо, — il lui est arrivé un accident, он сделал промах — un faux pas, сглупил, понимаете? Et le ministre *...*» и т. д. «Ветер дует в нашу сторону... Ах, вы не знаете, что тут было без вас. Я даже хотел вам писать. Петербургское земство, *se qu' il a fait !***...*»

— Извините, мне надо зайти в этот магазин, — перебил его Теребнев.

— Ah, c'est dans la *** Русская книжная торговля. Зачем? Пойдемте к Черкесову. Каких вы хотите книг? — по славянскому вопросу? — ни одной не найдете. Так постойте же, в таком случае *voila se que nous ferons *****: я вас познакомлю с нашими славянами. Как они будут рады!

— Я завтра уезжаю, когда же мне знакомиться, — уклонялся Теребнев.

— Э, как жаль! Зачем так скоро? А они были бы в восторге. Да нет, вы останетесь, это нельзя так скоро.

Теребнев, не отвечая, зашел в книжный магазин и купил несколько книг; Сапожников тоже порывлся в книгах, сделал несколько замечаний и, выходя на улицу, спросил:

* потому что Катков, видите ли... с ним случилось происшествие... ложный шаг...
II министр (франц.).

*** что оно сделало! (франц.).

*** Ах, это в (франц.).

**** вот что мы сделаем (франц.).

— А propos *, куда вы едете?

— В деревню.

— Ах, это вы в свое имение. В какой губернии ваше имение?

— В Саратовской.

— Неужели? Mais vous savez donc, que c'est ma patrie**. Вот это мило! А я до сих пор и не знал, что вы тоже саратовский. А знаете, я был бы не прочь еще раз взглянуть на те места, где я родился. Хорошая мысль! Теребенов молчал.

— Послушайте, зайдите сюда, к Доминику! Я здесь всегда в это время пью мой кофе и читаю газеты.

Теребенов повернул назад, говоря, что ему нужно туда, в ту сторону.

— Согласен, пойдите в ту сторону; тем более, что мне еще рано. Пока пройдемся, поговорим. А какая сегодня погода — замечаете? — В такую погоду я готов хоть десять миль сделать пешком. Ах, какой же я рассеянный, совсем забыл спросить вас: скажите, куда девалась cette petite ***... как ее звали? Помните, эта милая девочка, полька, за которой мы оба ухаживали на водах?

— Право не знаю, — с неудовольствием ответил Теребенов.

— Как, неужели вы ее потеряли из виду? Жаль. Mais comme elle était charmante!****. А кстати, женский вопрос, вы слышали, — фють! Все кончилось, и все они выходят замуж.

В это время они подошли к Палкину, и Теребенов, рассудив, что от Сапожникова так не отделаешься, решил зайти и накормить его: авось отстанет. Тот, конечно, согласился.

— Пожалуй. Хотя я, selon moi*****, не поклонник здешней кухни, но для разнообразия — pourquoi pas*****, зайдите!

Они вошли наверх и сели за один из маленьких столиков в общей комнате; Сапожников спросил обеденную карту и подал ее Теребенову, Теребенов, собственно говоря, и есть не хотел, притом же думал о другом; он совсем машинально взял карту и начал ее читать; читал, читал и вдруг вспомнил, что это, однако, не очень вежливо и поскорей возвратил ее Сапожникову; но тот опять положил ее на стол, говоря, что он — после.

Наконец, лакей догадался и подал другую. Сапожников, собираясь обедать на чужой счет, из вежливости выбрал самый дешевый обед.

— Je préfère, я предпочитаю эти дешевые обеды, — оправдывался он, должно быть, перед лакеем, — потому что, по крайней мере, это все простые, здоровые блюда из свежей провизии.

Теребенов спросил себе тот же самый обед из простых, здоровых блюд и бутылку вина: но почти ничего не ел, а только смотрел, как Сапожников ест. Зрелище это было в своем роде довольно любопытное. Теребенов только делал вид, что обедает, Сапожников же, наоборот, делал вид, что нисколько не заботится об обеде и весь занят разговором. Вследствие привычки постоянно питаться чужими обедами, за которые он считал себя обязанным расплачиваться болтовней, Сапожников приобрел необыкновенную ловкость поглощать большое количество пищи самым незаметным образом; он делал это совершенно так, как фокусники глотают шпаги: под видом оживленного разговора, он очень искусно съедал самые большие куски, а сам все говорил, все говорил; потом брал на вилку крошечный кусочек и начинал вилкой рассуждать, показывая ее собеседнику;

* Кстати (франц.).

** Но вы же знаете, что это моя родина (франц.).

*** эта малютка (франц.).

**** Но как она была мила (франц.).

***** на мой вкус (франц.).

***** почему же (франц.).

затем клал этот кусочек на тарелку, разрезывал пополам, намазывал горчицею, отламывал тоже самый крошечный кусочек хлеба и наконец потихоньку съедал. Но когда Теребнев переставал на него смотреть, он быстро отхватывал пол-огурца зараз, проглатывал несколько картофелин в один раз и запивал вином *.

******[Теребнев делал вид, что ничего этого не замечает, и не слушал его болтовни]. Но пока Сапожников болтал, а Теребнев его не слушал, в трактир один за другим набирались разные посетители: они подходили к буфету, выпивали рюмку водки, закусывали и разговаривали между собой, требовали карту, «Московские ведомости», чашку бульону и т. д.

** Далее публикуем текст черновой рукописи.*

****** *Перед этой фразой в черновом тексте стоит вариант той фразы, которой мы заканчиваем публикацию фрагмента беловой рукописи. Далее следуют несколько зачеркнутых набросков, выброшенных, несомненно, из-за цензурных соображений. В сущности, можно говорить о двух вариантах одного и того же наброска, в котором Слепцов раскрывает образ человека, названного им впоследствии Новиковым. После слов «не слушал его болтовни» вначале было написано:*

Сам <?> стал прислушиваться к разговору, который происходил в это время на другом столе, за которым обедали трое каких-то господ. Они несколько раз произнесли фамилию X — —, фамилию того самого человека, с которым одним на весь Петербург Теребнев был бы не прочь повидаться. Называя его, они отзывались о нем не совсем лестно. Один из них даже злился и просто ругал его... Теребнева это очень заинтересовало. X он знал давно и был даже к нему расположен. Вдруг он вспомнил, что Сапожников должен все знать.

— Послушайте, Сапожников, вы не знаете, кто это такие, эти господа? — спросил он, очень невежливо прерывая его болтовню.

Сапожников, застигнутый посреди какого-то рассказа, несколько удивился, но все-таки стал всматриваться в этих господ и сконфузился; оказалось, что он их не знает. Тем не менее он тут же спохватился, сделал „ист“ и, подозревая лакея, начал его расспрашивать, кто эти господа. Лакей тоже не знал.

— Я сейчас узнаю.

Сапожников вскочил, вытер салфеткой рот и, держа ее в руках, подошел к обедающим. Они молча поглядели на него. Он раскланялся и сказал:

— Pardon, messieurs (л. 23—24).

С этим наброском связан еще один, находящийся выше на том листе, где описано появление Теребнева и Сапожникова в трактире: ...выходит он из дому и прогуливается где-нибудь в глухом месте на берегу реки. Во время этих прогулок он размышляет о том, что хорошо бы бежать, а еще лучше — застрелиться, и останавливается пока — на водке. Но проходит месяц, два и опять является у него новый проект, X ожи- вает, нанимает извозчика и пошла опять езда.

Однако в процессе работы этот вариант у Слепцова отпадает. Зачеркнув почти все написанное, он оставляет лишь фразу о трех господах, обедающих у соседнего столика, и продолжает ее уже иначе:

— А вас интересуют эти господа, — спросил он, чтобы скрыть свое смущение.

— Нет, сами-то они мне несколько не интересны, но они упомянули фамилию одного моего знакомого.

— Pardon, какую фамилию?

— Раслянова, вы его не знаете?

— Раслянов, Раслянов, позвольте, кто такой Раслянов? А, знаю: молодой брюнет. Такое умное лицо.

— Петр Петрович.

— Знаю, знаю, знаю, — обрадовался Сапожников.

— И знаете, где он живет?

— Вот уж этого не могу вам сказать. А впрочем, я сейчас узнаю.

Его очень огорчило равнодушие, с которым Теребнев слушал его болтовню, и поэтому он обрадовался случаю оказать ему услугу, вскочил, вытер рот салфеткой и, держа ее в руках, подошел к обедающим.

Они молча поглядели на него. Он раскланялся и сказал:

— Pardon, messieurs.

Обедающие несколько удивились и продолжали молча смотреть на него. Но он еще раз поклонился и сказал... (л. 22).

Наконец, Слепцов зачеркнул и этот эпизод, продолжив текст следующими словами: Но пока Сапожников болтал, а Теребнев его не слушал...

Теребеньев невольно стал присматриваться и прислушиваться. Какие-то инженеры, стоя у буфета, разговаривали о строящейся железной дороге, один толстый господин, наскоро хватая вилкою разварную лососину, объяснял буфетчику, какой вред происходит от раздробительной продажи вина; буфетчик равнодушно с ним соглашался и в то же время ровным, спокойным голосом отдавал прислуге разные приказания. Вошли два франта; один, подходя к буфету, сказал другому:

— Mais je suis affamé, comme un * голодающий финляндец. Дайте мне рюмку водки!

У окна сидели еще трое и тоже разговаривали о голодающих. Теребеньев смотрел на этих господ и возмущался тем, что они могут уписывать за обе щеки, чавкать и облизываться. Ему казалось, что, рассуждая об умирающих с голоду, можно бы, по крайней мере, хоть есть поскромнее. Глядя на обедающих, он никак не мог понять, как у них достаёт дерзости обедать. Сам он с тех пор, как приехал в Россию, ни разу еще не обедал как следует: он считал это даже подлостью, он никак не мог себе представить, как это вдруг сесть за стол, выпить рюмку водки, закусить солененьким, и затем начать пожирать по порядку: сначала суп, потом соус там какой-нибудь, жаркое и т. д. Самая мысль об обеде возмущала его, он считал ее как бы постыдною, он признавал, что есть необходимо, но во всяком случае считал это дело горькою необходимостью, а потому, перехватывая наскоро бутерброды, он делал это как можно скорее и старался при этом ни на кого не глядеть.

Теперь, сидя за столом, он чувствовал себя в положении школьника, посаженного в виде наказания за черный стол. Ему было и стыдно и противно глядеть на Сапожникова, спешившего доедать свой обед.

— И к чему он эти фокусы делает? Ведь я все это вижу. Уж ел бы что ли скорее, — думал он и, наконец, потеряв терпение, встал из-за стола и пошел рыться в газетах.

Проходя мимо двери, он случайно взглянул в другую комнату: на диване за столом сидел человек лет 30, небольшого роста, с большой бородой, с очень умным лицом и пристально всматривался в Теребеньева.

Теребеньев в ту же минуту узнал его, несмотря на то, что совершенно почти забыл его в последние годы. Это был его большой приятель Новиков, единственный человек во всем Петербурге, с которым Теребеньев не прочь был бы повидаться, но только не прочь; искать этой встречи Теребеньев не стал бы, но, встретившись нечаянно, очень обрадовался и как будто испугался. Новиков молча смотрел на него, широко открыв свои большие строгие глаза, и не шевелился, только уши у него вдруг покраснели и румянец медленно подымался по щекам. Перед ним на столе стоял графин водки, в руке он держал налитую рюмку и так и остался с рюмкою в руке.

Теребеньев подошел к нему и протянул руку. Новиков очень медленно подал ему левую и, продолжая держать в правой рюмку водки, с удивлением оглядел Теребеньева с головы до ног и наконец спросил:

— Зачем вы здесь?

Теребеньеву показалось, что Новиков как будто недоволен. Это его удивило.

— Я не понимаю.

— Я спрашиваю, зачем вы сюда приехали?

Теребеньев пожал плечами.

— Как зачем? Захотел и приехал. Что ж тут такого?

— Совсем?

— Да, совсем.

* Но я голоден, как (франц.).

- Сюда, в Петербург?
- Нет, я еду в деревню.
- Зачем?
- Начинать сначала.

Новиков посмотрел на него.

Встреча двух приятелей неожиданно для обоих вышла ужасно неудачна. Оба в первую минуту как будто обрадовались, потом очень удивились, и оба остались чем-то недовольны. Впрочем, у обоих были на это свои причины.

Теребнев стоял у стола и как будто ждал еще чего-то. Новиков еще посмотрел, потом поднес свою рюмку к губам, вылил ее в рот и, с водкою во рту, опять посмотрел на Теребнева. Наконец покраснел, сделал гримасу и с великим усилием проглотил, потом закашлялся, замахал руками и закричал:

— Фу, как это глупо!

Теребнев с удивлением смотрел на него.

— Ну, что ж вы стоите? Садитесь! Хотите водки?

Теребнев сел и тут только заметил, что за столом вместе с Новиковым сидел еще какой-то молодой человек.

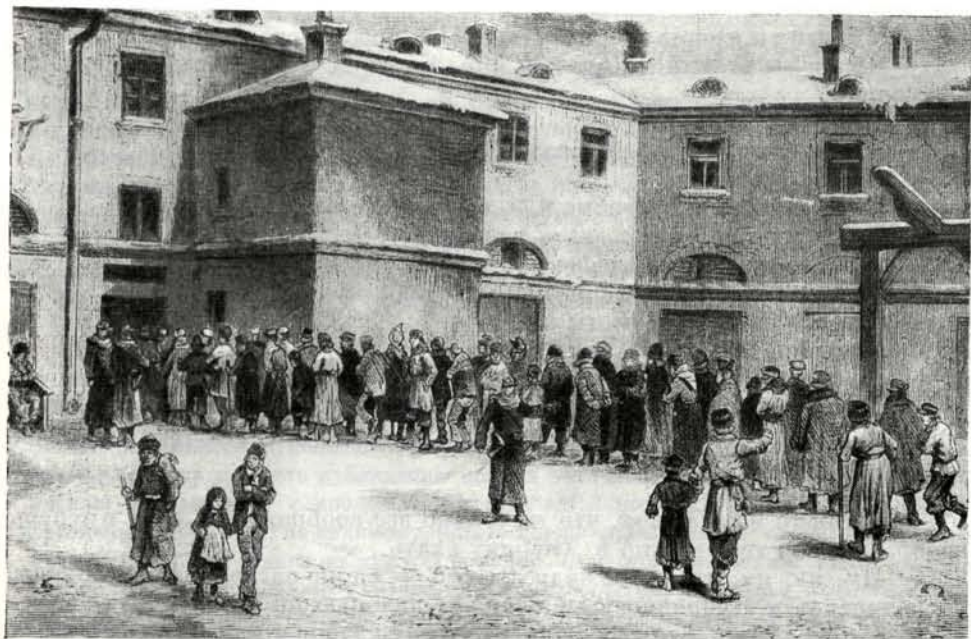
Новиков тоже спохватился и назвал молодого человека по фамилии — Кудрявцев.

— Ну, а вы что же делаете? — спросил Новикова Теребнев.

— Что я делаю? Видите, что я делаю — водку пью.

— Только?

— Чего ж вам еще! Надеюсь, что этого довольно. А еще я собираюсь ехать. Нет, постойте. Прежде всего вы мне вот что объясните, откуда, как и почему. Это для меня очень важно, гораздо важнее, нежели как вы думаете.



ОЧЕРЕДЬ В СТОЛОВУЮ ДЛЯ БЕДНЫХ В ПЕТЕРБУРГЕ

Гравюра с рисунка А. Бальдингера, 1880 г.

Исторический музей, Москва

Теребеньев взглянул на Кудрявцева, который сидел, опершись локтями на стол, и совсем равнодушно смотрел в окно.

— На него вы можете не обращать внимания, — заметил Новиков. — Во-первых, потому что он мой друг, а, во-вторых, ему решительно нет никакого дела до вас. Это такой человек.

Кудрявцев так же спокойно, как смотрел в окно, посмотрел на Новикова и опять стал смотреть в окно.

— Ну, так как же? Откуда?

— Из Гамбурга.

— Зачем?

— Хотел ехать в Америку.

— В Америку? Как в Америку? — вдруг вытаращив глаза, спросил Новиков. — Как в Америку? Да ведь я еду в Америку. Это еще что за новости!

Теребеньев засмеялся.

— Так кто ж вам мешает? Ну и поезжайте.

— Нет, позвольте, этого нельзя.

— Почему это нельзя? — продолжая смеяться спросил Теребеньев. — Разве мало места в Америке?

— Нет, позвольте! Главное-то, ведь вот: каким же это манером вы вместо Америки очутились здесь?

— Мм. Раздумал, — неохотно сказал Теребеньев.

— Раз-ду-мали!.. Да, вот что. А позвольте вас спросить, почему вы раздумали?

— Как почему? Раздумал, да и всё тут, — с неудовольствием отвечал Теребеньев.

— Как всё тут? Нет, это вовсе не всё. Так нельзя отвечать. Нет, вы скажите, на каком основании вы могли раздумать? Разве вы не понимаете, как это важно?

— Ну, что ты пристал, — потягиваясь в кресле, сказал Кудрявцев.

— Чудак ты этакий! Как же мне не пристать! Когда я сам еду в Америку.

— Вовсе ты не едешь!

— Как не еду? Кто тебе сказал?

— Я тебе говорю.

— Мало ли, что ты говоришь, а я тебе говорю, что я еду.

— Вовсе тебе не нужно ехать в Америку.

— Это мое дело, мне лучше знать, что мне нужно.

— Вздор! Ты никогда не знаешь, что тебе нужно.

— Кто же знает? Уж не ты ли?

— Конечно, я.

— Да ты свои-то дела знаешь ли?

— Своих не знаю, потому что у меня никаких своих дел нет, я и занимаюсь чужими. И если бы ты не мешал, я бы давно устроил твои дела наилучшим образом.

— Я воображаю.

— В том-то и беда твоя, что ты только все воображаешь. Вот и теперь воображал, что тебе нужно в Америку ехать.

— Ну, ну, ну, что же я буду делать? — вдруг загорячился Новиков, оборачиваясь к Кудрявцеву, и хлопнул ладонью по столу.

— Я тебе скажу, что тебе надо делать. Вы давно с ним не виделись? — вдруг обратился он к Теребеньеву.

— Четыре года.

— Значит, вы его знали еще холостым.

— А вы женаты? — с веселым любопытством спросил Теребеньев.

— А вы не знали? — с притворным удивлением спросил Теребенева Кудрявцев.

— Зачем же ты скрываешь от своих друзей, что ты женат? а?

— Ну, убирайся,— конфузясь и отворачиваясь, сказал Новиков.

— Чего убирайся! Зачем ты скрыл от господина Теребенева, что ты женат? а? Ну, признавайся! Вот извольте любоваться! Женатый человек, отец семейства и до чего себя довел, что хочет бежать. Как вы это находите?

— Послушай, что ты за скот, наконец, что ты за чепуху...

— Какую чепуху? Ведь ты сам сейчас говорил, что бежишь в Америку.

— Так что ж такое? Я вовсе не хочу бежать, я просто еду.

— Едешь?

— Да, еду.

— Зачем ты едешь-то?

— Затем, что здесь скверно жить, а там хорошо.

— Ну, вот это и значит, что ты бежишь, беглец ты и есть, бродяга. Спроси какого-нибудь беглого солдата, он тебе то же самое ответит, вот, что ты сейчас сказал. Все вы бродяги. Это вы Диксона читались. Прежде вот так же крепостные бегали в Хиву, а образованные — в Лондон. Теперь узнали еще одно местечко — Америку. Только это напрасно,— сказал Кудрявцев.

— Почему же это напрасно? —спросил его Новиков.

— А потому что расчет неверен. По-моему, сразу далеко бежать не следует никогда, разве уж в самом крайнем случае, когда погоня, ну, уж тут, конечно, со страху можно забежать чёрт знает куда, и это понятно, но бежать от долгов или там от неудач и вообще с горя за тридевять земель в тридесятое царство, это, по-моему, такая глупость...

— Что же, по-твоему, всякая эмиграция — глупость?

— Совсем не то. Я говорю только, что сразу эмигрировать далеко, если есть хотя малейшая возможность, никогда не должно. Не расчет. Пони-маешь ты? Нерасчетливо, стало быть, безрассудно. Наделал ты, положим долгов, запутался в делах и чувствуешь ты, что тебе никакими судьбами не выпутаться. Думал, думал,— что делать — бежать. Беги! Хоть это и подло, но если ты находишь, что иначе тебе невозможно — чёрт с тобой — беги, только вот тебе мой совет: сразу далеко не забегай, потому, что, представь ты себе, что убежал ты со страху к чёрту на рога, тебе и там не повезло; куда ты тогда денешься, или представь ты себе, что живешь ты там, у чёрта на рогах, и вдруг напала на тебя тоска по родине — что ты станешь делать? — назад — с какими ты глазами сюда покажешься? Бежать можно, отчего ж не бежать, только сначала куда-нибудь недалеко, например, поезжай в Новгород.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

НАБРОСКИ VI ГЛАВЫ РОМАНА «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

Сохранившиеся рукописные наброски VI главы «Хорошего человека», которая должна была продолжать публикацию первых пяти глав романа в «Отечественных записках», невозможно расположить в последовательности их возникновения. Все эти фрагменты являются, по-видимому, разными вариантами начала главы и отражают один из последних этапов работы над романом. При этом наброски первый, второй и третий нашей публикации в какой-то степени объединены общей мыслью автора, что Петербург для Теребенева представлял собою всего лишь «пустое место». Насколько иная линия замысла намечена в наброске четвертом, где говорится о Петербурге, как «сборном месте» дельцов всех мастей. Все эти небольшие наброски свидетельствуют о том, какой интересной и значительной обещала быть VI глава, которую (как и весь роман) Слепцову не удалось закончить.

<1>

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Глава VI

На другое утро по приезде в Петербург Теребнев проснулся с тяжелой головою и ясным сознанием того, что он опять на родине. Это сознание в виде ощущения явилось у него даже раньше, нежели он успел проснуться как следует и открыть глаза. Он чувствовал, что переспал, что пора вставать, старался проснуться и в то же мгновение опять начинал забываться и снова засыпал. Тяжелая дремота давила его: казалось ему, что лежит он в какой-то духоте и не знает, как ему быть. В сонном воображении его духота представлялась ему чем-то неуловимым, необъяснимым и необъемлемым; везде духота: вместо воздуха — духота, вместо света — духота, вместо звука — духота, ни дышать нельзя, ни глядеть нельзя и ничего не слышно; можно только чувствовать, что все наполнено духотой, и никуда уйти от нее невозможно. Какой-то ужас овладел им, он сделал отчаянное усилие, чтобы проснуться, и тут же стал догадываться, что уж он проснулся и что эта духота, которая его душила, вовсе не сонное мечтание какое-нибудь, не кошмар, а напротив того, действительная, настоящая духота, которую он чувствовал вчера и сегодня будет чувствовать целый день; одним словом, он понял, наконец, что эта духота, в сущности, не что иное, как Петербург.

Теребнев открыл глаза и попробовал вздохнуть — в комнате в самом деле воздух был ужасный; он встал с постели и открыл окно — оттуда пахнуло гарью, как из печи. Вместе с тем взорам его представился петербургский двор во всем блеске утренней деятельности и со всеми своими украшениями: с помойной ямой, криками кучеров и бранью кухарок, с нищими, шарманками, разносчиками и едким запахом жареного кофе, запахом, который, казалось, выходил откуда-то из подземелья и, подобно заразе, неудержимо распространялся по всему дому. Этот запах заглушал даже смрад горящего леса, которым был отравлен петербургский воздух и от которого никуда невозможно было скрыться. Прямо против окна открывалась перспектива крыш с дымовыми трубами, каланчами и колокольнями.

— Да, опять я здесь, — подумал Теребнев, — ошеломленный спросонья утренней картиной петербургского двора. — Как все это знакомо и как это... противно, собственно говоря.

Он позвонил и спросил себе чаю, да, кстати, уж и газету какую-нибудь.

— Скорей, скорей отсюда, — говорил он сам себе, торопливо ходя по комнате и поглядывая на свои разбросанные вещи.

В ожидании чая он принялся на досуге соображать свое настоящее положение.

На родине! И так это неожиданно случилось: вместо Америки вдруг очутился здесь. Но как бы то ни было, теперь уж это решено, что я еду туда. Да, только там еще можно что-нибудь сделать. Надо же начать когда-нибудь. По поводу начинания он невольно вспомнил о многом множестве разных своих начинаний и в смущении остановился перед будущим. — Что я, однако, буду делать там? — в первый раз серьезно подумал он и опять остановился. Мысль его, как упрямая лошадь, отказывалась идти вперед и только пятилась. Как он ни насиловал свое воображение, как ни старался представить себе что-нибудь такое определенное — ничего такого не представлялось, а вместо того, как назло, в памяти его всплывали одна за другой картины ненавистного детства и задаром погубленной юности.

<2>

* Как только он себя помнил, постоянно, всю жизнь он куда-то стремился и постоянно на что-то надеялся. Всегда у него была твердая уверенность в том, что хотя здесь и скверно, и ничего не выходит, и людей нет, но зато там, где-то там, есть такое место, где живут хорошие люди и жизнь там совсем другая и всякий может найти себе занятие по душе. Вера в обетованную землю была до такой степени сильна в нем, что никакие неудачи не могли отбить у него охоты постоянно и неуклонно искать ее по свету. Каждая новая неудача только убеждала его в том, что на этот раз он ошибся и что надо искать другого места. И каждый раз опять, разумеется, приходилось убеждаться в том, что опять он ошибся, что и тут, в этом новом месте, не оказалось ничего, что это место — просто пустое место. Таким образом, вся жизнь Теребенева проходила в том, что или он стремился к пустому месту, или с разбитыми надеждами уходил от него. Но, как бы то ни было, до настоящего времени все-таки были, по крайней мере, такие места, куда можно было ехать, теперь же, после того как он *дошел до края* и ехать уже больше некуда, оставалось одно — вернуться назад. Теперь приходилось ему возвращаться по тем же местам, по которым несколько лет тому назад он ехал вперед, опять возвращаться к тому, от чего, казалось, можно только бежать. Опять Петербург. Опять Теребнев видел и чувствовал себя в этом городе, из которого он ушел четыре года назад в полной уверенности, что возвращение назад не только не нужно, но даже и невозможно. — Пустое место, — думал Теребнев, глядя из окна на безобразную грудку домов, тускло освещенных закоптевшим солнцем.

Черновая рукопись. Карандаш. (ИРЛИ (Р. III, оп. 1, № 1919, л. 35 и № 1925, л. 1). Начало и конец рукописи не сохранились.

<3>

** Петербург в настоящую минуту не представлял Теребневу ни малейшего интереса: этот город был для него не больше, как «пустое место», одно из тех многих пустых мест, перед которыми приходилось ему останавливаться до сих пор и через которые теперь он шагал с полной уверенностью, что в другой раз, должно быть, уж шагать не придется. Он даже вовсе не хотел останавливаться в Петербурге, но ему нужно было сделать некоторые покупки для деревни и подписаться на журналы. Для этого необходимо было прожить, по крайней мере, один день.

На этот раз Петербург произвел на Теребенева очень странное и вместе с тем неприятное впечатление: прежде всего он нашел, что город ужасно опустел, что даже на главных улицах как-то мало людей, мало движения; дома как будто стали гораздо меньше, магазины обеднели и совсем лишились прежнего великолепия и что все вообще имеет какой-то жалкий, за-

* *Перед этой фразой зачеркнуто:* «...это значит, что давно ошибался, может быть с самого начала всегда ошибался; а вернуться, значит, сознаться в ошибке. Это бы еще ничего, но сознаться в такой страшной ошибке, это почти то же, что сознаться в своем бессилии, в неспособности, в неумении определить себе жизненную задачу, а это значит...»

А чёрт возьми совсем, не хочу больше думать!

** *Первую половину рукописи Слепцов переделывал дважды. Любопытен самый ранний текст, затем вычеркнутый автором:*

В настоящую минуту Петербург был, действительно, не более, как пустое место, на котором была прежде какая-то жизнь, было движение, совершались разные дела; но все эти дела кончились и затем осталось одно пустое место. По-видимому, все было по-прежнему: те же дома, те же улицы, тот же шум, то же движение очень живо напомнили Теребневу деревенскую площадь после ярмарки. Еще очень недавно здесь была жизнь, шум, движение, толпа народа шумела, волновалась, спорила, кричала. Еще недавно все шло сюда, и все казалось, что непременно надо идти сюда, все торопились, и всем это было нужно.

пущенный вид. Лица, в особенности у мужчин, стали какие-то широкие, точно расплылись; костюмы на всех, даже на дамах, большею частью такие неизящные. А главное пусто и притом как-то безнадежно пусто *.

Углубиться во внутреннюю жизнь Петербурга Теребнев не мог, да и охоты не было: ему хотелось поскорей уехать. От знакомых он отворачивался. Ему неприятны были встречи ** с ними, главным образом, потому, что эти знакомые напоминали ему жизнь в Петербурге, прожитую, забытую и утратившую для него всякий внутренний смысл, всякое живое значение.

Рукопись написана чернилами и имеет последующую карандашную правку. ИРЛИ (Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 40—41).

<4>

Петербург в том виде, в каком застал его Теребнев по возвращении из-за границы, представлял совершенно новую для него картину. Это был совсем не тот Петербург, каким он был за десять лет, даже не тот, каким Теребнев оставил его четыре года тому назад. В настоящую минуту Петербург, как и прежде, служил сборным местом для россиян, стремящихся со всех концов России, одержимых жаждою деятельности. Прилив новых сил из провинции, по-видимому, нисколько не уменьшался, новые люди по-прежнему прибывали на смену уезжавшим. Количественной разницы между прибылью и убылью не замечалось никакой, зато качественная разница была изумительная: прибывающие были совершенно другого сорта люди и ни в коем случае не могли заменить убывающих. Толпа, нахлынувшая в конце 50-х годов в Петербург, вся эта масса мечтателей и фантазеров в настоящую минуту бежала вон, она расплзлась опять по разным захолустьям, опять удалялась в пустыни, забивалась в глушь. Удаление из столицы совершалось большей частью добровольно, по крайней мере, настолько добровольно, насколько возможен был выбор из худшего лучшего. Как бы то ни было—эта категория людей явно исчезала и на место ее являлась другая, совершенно противоположного свойства. Уезжающие были люди непрактичные и легкомысленные, вно<вь приезжающие>, напротив того, поражали житей<ской> лов<костью и умением> *** обделывать дела.

Черновая рукопись. Карандаш. ИРЛИ (Р. III, оп. 1, № 1919, лл. 36—37 и 39).

* После слова пусто последовательно зачеркнуто два следующих варианта:

а) Бродят какие-то сонные люди, точно осенние мухи по стеклу... Но чем больше всматривался Теребнев и чем больше глаз его привыкал к позабытым картинам, тем все больше убеждался он в том, что если и произошла какая-нибудь перемена в эти четыре года, которые он прожил за границу, то эта перемена случилась в нем самом, в Петербурге же осталось по-прежнему.

б) А то вдруг точно с цепи сорвется какой-нибудь кавалергард и с непонятной быстротой пронесется по улице, подымая пыль и пугая пешеходов. И опять ничего. Куда-то они идут, копошатся, встречаются, расходятся, опять встречаются. Зачем, почему — неизвестно. Что это такое — ничего не разберешь. Европа — не Европа, Азия — не Азия. После настоящей Европы Петербург показался Теребневу как-то особенно противен. Хоть там и скверно, но зато, по крайней мере, понятно, почему скверно, а здесь и понять-то ничего нельзя.

** После слова встречи зачеркнуто: со старыми знакомыми, главным образом, потому, что они своей болтовней только напоминали ему старые глупости и отвлекали его от главной цели: т. е. от...

*** Здесь оборвана половина листка.